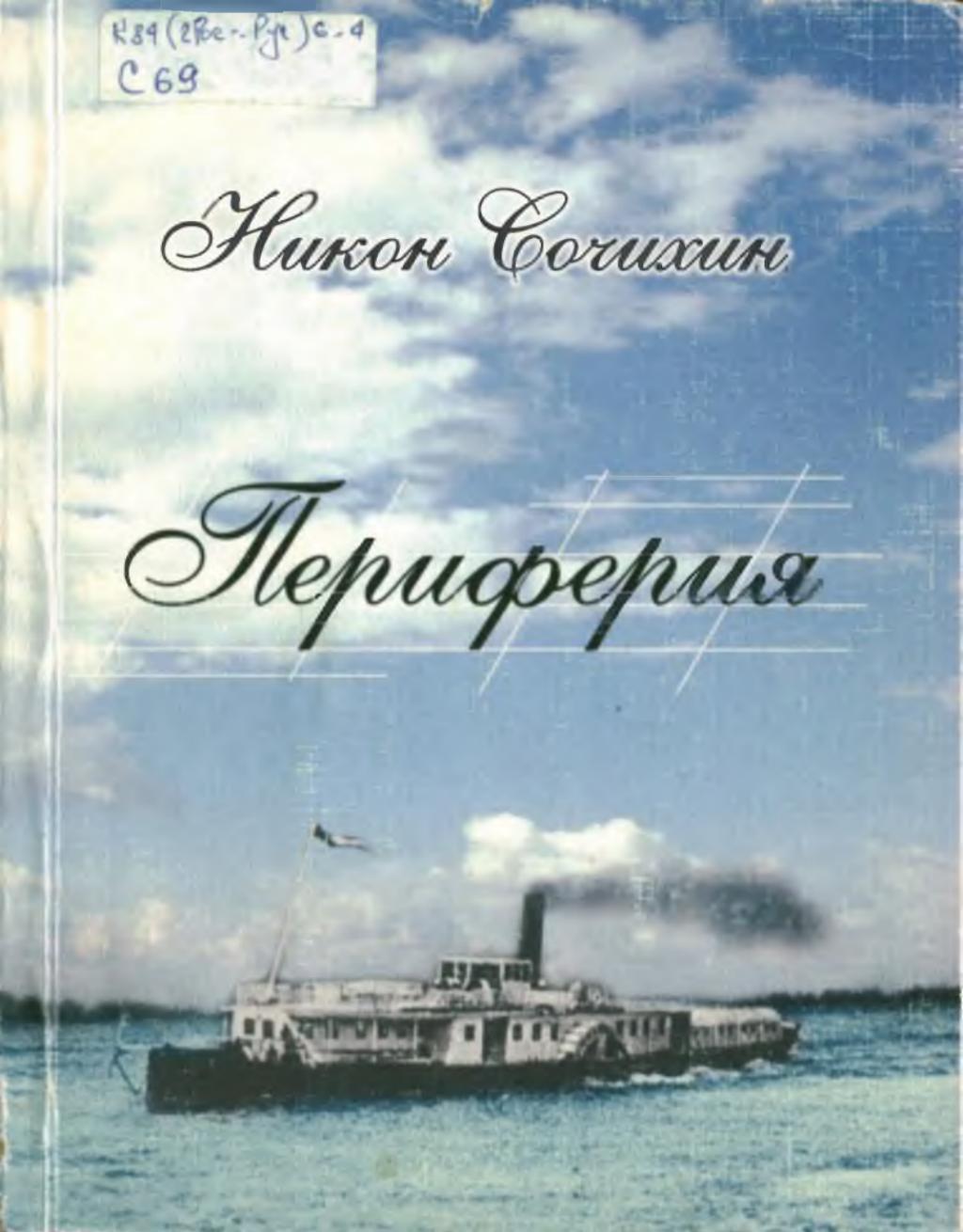


К89(2Ре-Ру)с-4
С 69

Никон Сорухин

Периферия



К 84 (2) Род-1780 Г-9

С 69

Чагене Васильевна
Чукова

Никон СОЧИХИН

С радостью от всей
Душ! Никон

ПЕРИФЕРИЯ

Сургут. Центральная
библиотека им. А.П. Чуковского
г.р. 2007



МУН ЧБС Томск - 2007

Сургут КР



9000703698

ББК Ш6(2=Р)75-5
С 695

Сочихин Н.В. ПЕРИФЕРИЯ. – Томск: Изд-во
С 695 НТЛ, 2007. – 352 с.

ISBN 5-89503-339-5

Эта книга – не повесть обо мне, лично. Эта книга о детях войны. Во многом я кое-чего упустил. Во многом кое-что приукрасил. Но думаю, что и этого достаточно, чтобы увидеть лицо того поколения, к которому принадлежу и я сам.

С глубочайшей признательностью всем, кто в той или иной мере помог мне в написании её и, конечно, издании.

ББК Ш6(2=Р)75-5

ISBN 5-89503-339-5

© Н.В. Сочихин, 2007

* * *

Однажды мы с другом Альбертом решили (твердо решили) съездить в деревню Усть-Чижапку, что в Каргасокском районе на севере Томской области.

Там, в 30-х, 40-х и 50-х годах находился детский дом, в котором мы воспитывались в свое время.

Решили?

Решили!

По Томи и Оби приплыли, можно сказать, прилетели на «Метеоре» в Каргасок.

Здесь Обь делает хоть и плавный, но поворот вправо и поэтому левый берег подмывает.

Он укреплен. Когда-то деревянными сваями, а потом еще и гравием.

Речной вокзал.

Небольшое деревянное здание о двух этажах.

Вечереет.

Надо устроиться на ночь.

Заходим узнать. Как? Что?

Смотрим расписание.

Ага.

Усть-Чижапка. «Заря».

Завтра утром.

Чудесно!

На втором этаже гостиница.

Поднимаемся.

За столом дама.

Заполняем карточки приезжего гостя и пробуем разговорить ее. Узнать что-нибудь о Чижапке.

Она слушает наши вопросы, не выражая никакого интереса.

Наконец, отрывается от бумаг и говорит:

– Я на периферии не бываю.

Мы переглянулись.

Взяли ключ и пошли.

Без обиды.

* * *

Есть люди, которые утверждают, будто они помнят себя еще в утробе матери.

Может быть и так.

Я же помню из своего раннего детства совсем немного, и то отдельные картины. И не столько помню, сколько вижу.

Вижу самого себя чуть сзади, чуть левее, чуть-чуть выше своей головы.

Вижу и то, что вокруг меня.

Вижу:

Стоит железная печка. Возле трубы розовые разводы – топится. Пышет жаром. На плите несколько зернышек ячменя. Они поджариваются и щелкают, подпрыгивая. Возле нее на табуретке стоит мальчик и смотрит на них.

Рядом стоят его брат и сестренки.

С тех пор я всегда безошибочно отличал ячменные зерна от других и отличу даже с закрытыми глазами на ощупь и сейчас по прошествии стольких лет.

* * *

Мы жили в доме-пятистенке, принадлежавшем сельскому совету.

Отца не стало. И нам (маме) предложили его освободить.

Но сначала нас просто потеснили, т.е. подселили одну женщину, беженку из Молдавии.

Вижу:

Маленький мальчик (я) стоит в простенке и смотрит, как полная женщина ест курицу (запомнил же). Вот она обернулась и строго посмотрела на этого мальчика.

А что было дальше?

* * *

Вижу себя в подполе. Стены подпола голые, пустые, в них норы. Вверху отверстие. Свет. Как только крысы меня там не съели? Наверно, они давно ушли к другим из-за отсутствия хоть какого-то пропитания.

А как я там оказался?

Однажды, когда жарили ячменные зернышки, я в нетерпении потянулся к ним и упал на плиту, обжег ногу, все бедро. Было больно. Ходить не мог, но ползal. Видать, дома никого не было, вот и свалился. Как меня оттуда подняли, уже не помню.

* * *

Со смертью отца мы враз лишились всего. У нас была в собственности только одна лошадь, на которой отец ездил по вызовам в соседние деревни. Ее продали. Мама продала и книги отца в библиотеку Томского университета, медицинский факультет которого он окончил в свое время, аж в 1918 году.

За зиму подъели все подчистую. Картошку сажали только «глазками» и собирали соответственно.

Мама ушла в город искать работу. В то время этот путь был очень и очень даже небыстрым.

Вскоре стало совсем нечего есть.

Илья доставал еще иногда горсточку-другую зернышек ячменя, наверно, на скотном дворе. Но что это за еда на пятерых?

И однажды эта молдаванка сказала моей сестре Наташе:

— Вот, если ты умрешь, тебе ничего не будет, а если он умрет, — она показала на меня, — с тебя мать шкуру спустит. Идите, просите милостыню.

И мы пошли.

Потом, когда я приезжал в Новосибирск, где она жила, она вспоминала об этом, и мы вместе плакали.

— Что обидно, — говорила она, — те люди, которых отец лечил и выдавал лекарства, считай, бесплатно (какие деньги были в деревне в ту пору) и которые еще недавно заискивали перед нами, ехидничали, не скрываясь, — докторские-то побираются.

А мне ведь надо было идти в школу.

Записал со слов Наташи.

* * *

— Когда мама ушла в город искать работу и нам стало нечего жрать, я брал тебя на горбушку и уходил. За деревней было картофельное поле, за полем — болото.

Я уносил тебя подальше в болото, сажал на кочку и говорил:

— Сиди тут.

А сам возвращался на поле и, крадучись, с краешку выкапывал пять-шесть картошин.

Возвращался. Разводил костерок и в припрятанной консервной банке их варил. Да какой там, съедали полусырыми.

Однажды нас встретил объездчик. Остановил и стал у тебя спрашивать, мол, где были, что делали?

Я подумал: Ну, все, пропали.

Ты не сказал, а то бы мы с тобой загремели как враги народа.

Вот так-то, братец.

Записал со слов брата Ильи.

* * *

В детстве я страшно боялся ветра (от голода).

Ветер подует. Я уже зову:

— Иля, ветер.

Он брал меня на закорки.
И тут я спокоен.

* * *

Вижу: Летний вечер. Окна изб плавятся от солнечного заката. Ласточки летают совсем низко, почти касаясь земли.

Только что пригнали стадо.

И вдруг произошло как будто оцепенение. По улице, по ее середине, вытоптанной коровами и лошадьми, на тележке – небольшой деревянной площадке с шарикоподшипниками по углам – передвигался человек, солдат, в гимнастерке, без погон, без головного убора и ... без ног. Культи были забинтованы и пропитаны кровью и еще обмотаны газетами. В руках он держал что-то наподобие больших печатей.

Он нагибался вперед, ставил обеими руками эти печати на землю и затем подтягивал тело.

Он был не то чтобы молод, но и не совсем уж прожившим.

Стали выносить кто что мог: яичек, хлеба, молока.

И потом долго еще стояли у своих ворот и глядели ему вслед.

Чей он? К кому он? Куда?

Никто не знал.

* * *

Настали морозы, да такие, что было слышно, как в избе потрескивают стены, особенно по ночам.

Стоит кому открыть дверь, как огромные клубы пара перекатываются через порог, разбегаются по полу, достигая самой его середины, и лишь потом потихоньку тают. Все окна во льду и инее, и дневной свет едва пробивается сквозь них. Уже который день я не выхожу из дома: холодно, да и не в чем.

Вижу: маленький мальчик (я) в простенькой ру-
башонке пододвинул стул к окошку, взобрался на него, встал на коленки и принялся своим дыханием оттаивать глазок, чтобы посмотреть на улицу, потому что оттуда в этом месте как будто кто постукивал по стеклу чем-то острым и небольшим. Не просто и не сразу удалось отдохнуть и очистить ото льда глазок, достаточный чтобы в него можно было посмотреть. Глазок тут же затягивался, но я на него почти беспрерывно дышал и протирал рукавом. И вот увидел, что снаружи, на завалинке, напротив моего глазка, сидит птичка, жулан – красногрудый снегирь.

Между оконными рамами были положены гроздья рябины. Наверно, он их увидел и хотел поклевать, а стекло не давало, и он не мог понять, почему.

На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я увидел, с каким вниманием и удивлением птичка смотрит на мой глазок. Глазок стало затягивать лед-

ком. Я подышал на него и потер рукавом. Птички уже не было.

Она улетела.

* * *

Вижу: Зимний день. Мы идем по пустынной дороге. Все наше имущество на саночках, которые везет мама. Ей помогают старшие. Я и моя сестренка Вера, двумя годами взрослой меня, по переменке садимся на саночки передохнуть. С правой стороны столбы с натянутыми проводами.

Они гудят.

Теперь я понимаю, что от мороза.

* * *

Вижу: Уже в сумерках мы подходим к реке. На другом высоком берегу изба. В окнах свет.

Мы поднялись и постучали.

* * *

Вижу: В этой избе мы, ребяташки, лежим на русской печке, я с краешку (никогда не любил в серединке или у стенки), смотрю вниз. В комнате слегка дымно от керосиновой лампы.

За столом сидят взрослые и о чем-то говорят, я не могу расслышать, сосредоточиться и тихо-тихо погружаюсь в сон, как во что-то теплое, доброе и нежное.

* * *

Вижу: Постоялый двор.

В прошедшем 20-м веке в 40-е годы такие постоянные дворы (что-то вроде пристанища для приезжих) были, вероятно, во всех областных городах, были они и в Томске.

Сижу на лавке.

Рядом заросший бородой мужчина в тулупе и шапке с опущенными ушами.

Он развязывает котомку, достает хлеб и кусочек сала и начинает есть. Я повернулся к нему и, не отрываясь, смотрю, как он откусывает от того и другого и долго, будто в задумчивости, жует.

Он почувствовал мой взгляд и стал отламывать от хлеба.

А вот что было потом?

Взял ли? Поделился ли с мамой, братом и сестренками не помню.

И вот теперь и давно-давно я не могу, когда перedo мной едят. Я встаю и ухожу.

Такое забыть невозможно.

* * *

Мы идем вдоль высокого деревянного забора, покрашенного в зеленое.

Вход с металлическим кольцом.

Вот мы стоим в небольшой светлой комнате — мама, тетя в белом и я. Они о чем-то говорят.

Я стою.

Наконец, мама сказала мне, что мне надо остаться, и идет к двери.

Я – в рев.

Они опять стали о чем-то говорить. Тетя уходит и возвращается с тарелочкой, на которой разлито немножко манной каши.

Меня сажают за стол и ставят передо мной тарелочку и ложку. Я кошусь на нее, но не трогаю. Тогда они выходят. Я, конечно, тотчас ее слизал.

Вернулась тетя, уже без мамы. Она взяла меня за руку и увела.

Сколько я пробыл в доме малютки, я не помню.

Потом меня перевели в детприемник. Казалось бы, я должен возненавидеть манную каши, ан нет! – я люблю манную каши до сих пор. Только не очень жидкую, а наоборот – даже чуть-чуть густую и слегка как бы поджаренную, не с маслом, а с вареньем, любым.

В недавнее советское время в городах почти на каждом перекрестке находились столовые (пункты общественного питания), и я, бывая там, заходил в них пообедать и брал манную каши, если таковая была. И старался есть так, чтобы не лицом к залу.

И когда принимался за каши, все это вставало передо мной так четко, как будто происходило только вчера или даже происходит вот сейчас, и слезы невольно набегали на глаза и падали в тарелку, а я наклонялся пониже и ел, ел, чтобы никто не заметил.

Иногда, наверное, и замечали, и думали: что это с ним? Но никогда никто ни о чем не спрашивал. И правильно.

Маму, тетю в белом, тарелочку с манной кашей и мальчика, склоненного над ней, я видел со стороны, глазами моей души или глазами моего ангела-хранителя, или кого-то еще, в то самое время, когда я был этим маленьким мальчиком.

* * *

В детприемнике на завтрак к чаю вместо сахара иногда давали по карамельке.

И вот опять вижу себя сзади, чуть левее и немного выше головы, так что отчетливо различаю свою стриженную макушку.

Столики на четверых.

Справа, через столик, двое старших силой заталкивают конфетку одному из мальчиков.

Он мотает головой, вырывается и плачет. Все обернулись к ним, смотрят, но никто не говорит ни слова.

У мальчика из губ потекла кровь, и ему стало плохо. Старшие растерялись и отошли.

Как было больно и обидно. Так было жаль и мальчика, и себя, и всех-всех, что я невольно заплакал, наклонившись над тарелочкой.

А на завтрак была каша, манная, такая же, как тогда, в доме малюток, в первый раз.

* * *

В детприемнике я познакомился с Олегом, моим другом. Мы сидели за одним столиком, спали на одной кроватке, деревянной. Иногда кто-то из нас и обчуривался. Тогда кто первый просыпался, будил другого.

Мы становились на четвереньки и коленками терли простыню, чтобы она высохла. Кроватка, конечно, поскрипывала.

Кто-нибудь из старших просыпался и подходил к нам. Мы замирали под одеялом. Он одному и другому выдавал по хорошему пинку по энному месту. Мы ударялись головой в спинку кроватки и какое-то время лежали, не шевелясь, а потом опять потихоньку принимались тереть, ибо за мокрую простыню нас наказывали.

Придет воспитательница утром и проверяет, сухие или нет.

Для этого она просто сунет руку под одеяло и сразу определит: у кого? Но пуще всего мы боялись не наказания, а того, что потом нас могли обзывать засыхой.

* * *

Детприемник отапливался печками-голландками – такие круглые печки, обернутые железом и покрашенные в черное. В любое свободное время мы бежали к ним и грелись. Стоило только от нее немного отойти, как это место тут же занималось другим.

Из окна детприемника был виден участок железной дороги с горкой. На этой горке постоянно находился вагон. Должно быть, это был участок составления поездов.

Однажды летом нас водили на Каштак, на аэродром.

Аэродром предстал огромным полем, заросшим травой. Где-то в середине поля находились деревянные постройки, похожие на сараи. Возле них стояло несколько маленьких самолетиков, возможно, ПО-2 и У-2. Вдали, у самого горизонта, дымились в ряд несколько труб, и казалось, что там плывет суровый военный корабль.

Близко к самолетикам мы не подходили, посмотрели издали, и нас увели.

* * *

Из Томска до Каргаска нас везли на пароходе «Богдан Хмельницкий». Тогда по Оби ходило еще два парохода: пароход «Минин» и пароход «Пожарский». Если один из них шел вниз по Оби, то другой наоборот шел вверх. Когда они встречались, то приветствовали друг друга гудками. Только потом, учась в школе, я узнал кто такой Богдан Хмельницкий и кто такие Минин и Пожарский. В Каргаске мы пробыли несколько дней в ожидании парохода, который ходил по Васюгану. Это был пароход «Тара». Тара была кособокой. Ее так и звали: «Тара Кособокая». Когдато она ходила на двух котлах, но один взорвался, и

она накренилась на правый бок. Вот её-то мы и ждали несколько дней. Жили недалеко от пристани в двухэтажной деревянной школе. Ходили всегда группами, потому что сами боялись потеряться и нас боялись потерять.

Прогулки наши совершались в основном на пристань, смотреть на катера и грузовые пароходы, тянувшие плоты и баржи, груженные лесом. Там я услышал песню, которая мне запомнилась на всю жизнь, это:

*На Волге широкой,
На стрелке далекой
Гудками кого-то
Зовет пароход.*

Я не знал и даже не догадывался, что такое стрелка, но песня была о чем-то близком и дорогом.

Однажды нас привели на берег, мы стояли и смотрели на Обь, на пароходы. Возле пристани стоял грузовой катер. Над кабиной катера возвышалась небольшая деревянная мачта. На самом верху мачты был огонек, а чуть ниже круглый металлический рупор, похожий на колокол. Из рупора и лилась эта песня. Тогда я даже не догадывался, где и кто поет и почему песня звучит из этого колокола.

Погода стояла хорошая, солнечная. В небольшом заливе возле пристани было полно бревен, занесенных течением. Один взрослый мальчик спустился к воде и стал по ним бегать. Бревна под ногами крути-

лись, но он успевал перешагивать с одного на другое. На берегу было много народа, и он как бы хвастался перед всеми: Вот я какой!

Мальчика этого увидел кто-то из речников, он по-дошел и крикнул с берега, чтобы тот не баловался. Мальчик послушался (тогда взрослых слушались почти беспрекословно).

Обь была величавой и полноводной. Противоположный берег едва различался сквозь голубоватую дымку. И эта песня, льющаяся над водой, трогала мою детскую душу.

* * *

Все лето и половину осени мы по приезде в Усть-Чижапский детский дом жили в изоляторе, так как почти все чем-нибудь да болели: лишай, чесотка, трахома и т.д., к тому же и поселить нас было некуда — «малышовский» корпус только начинали строить. К осени нас подлечили, закончили и строительство.

И вот мы на новом месте.

Корпус небольшой, но уютный, широкие светлые окна, высокое крыльце, крыша покрыта досками, еще желтыми от новизны, с желобами для стока воды, над крышей три трубы.

Нас построили в коридоре в затылок друг другу, поставили стол, на него стопку документов и стали сверять наши имена и фамилии. Когда я почти подходил к столу, я услышал за собой неприятные звуки.

Я оглянулся. И увидел испуганные, широко открытые глаза мальчика, стоящего за мной, он судорожно хватался руками за что-то белое и плоское, выползающее у него изо рта. Волосатая голова и часть тела этого чудища извивалась в луже на полу.

Мы остолбенели от ужаса.

Подбежали няни, и мальчика у вели еле живого.

Все «это» убрали. И снова стали записывать.

Я подошел, меня спросили: «Мальчик, как тебя зовут?» Я ответил: «Радик». Я помнил, что меня так звали в семье. Мне сказали: «Нет, мальчик, тебя зовут не Радик, а Коля».

Коля! Значит, Коля.

И только потом-потом-потом я узнал, что настояще мое имя – Никон, которое мне дал отец.

Никона на Николая (Коля) не так сложно исправить. Да и какой я тогда был Никон – голова, ручки, ножки, вот и все, даже из-за табуретки еле-еле выглядал.

* * *

В «малышовском» корпусе было несколько комнат. Как заходишь, слева по коридору игровая комната, далее, слева же – спальня, а в самом конце – туалет.

Справа, в начале корпуса, была каптерка, где хранился инвентарь: топоры, лопаты, мётлы и все такое. За каптеркой была комната, где от нас, ребятни, отыхали воспитательницы и нянички, когда с нами уставали.

В игровой комнате печка стояла справа, недалеко от двери и в полуметре от стенки, и зимой в сильные морозы, когда мы не разучивали новых песен и не водили хороводов, мы залезали туда погреться и забирались под самый потолок, упираясь спиной в печку, а коленками в стену, с тем, чтобы и снизу тоже кто-то мог примоститься.

Две другие печки топились из коридора и обогревали: одна – нашу спальню, а другая – комнату воспитательниц.

После ужина и до самого отбоя мы группками собирались у этих печек, плавили в них припрятанный сахар на леденцы и глядели, как свет от огня, проникая сквозь отверстия в дверцах и поддувалах, играет на полу и на стенах. А веселое потрескивание полешек давало нашим детским душам успокоение и, может быть, даже надежду, что все еще наладится, все будет хорошо.

* * *

В «малышовском» корпусе был патефон, а к нему одна-единственная уцелевшая пластинка – «Марш авиаторов»:

*Все выше и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.*

На обратной стороне этой пластинки была песня:

*Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучшие девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной.*

А, может, и не она вовсе, а запомнилась так, сама по себе.

Еще из песен, какие мы с воспитательницей разучивали, запомнилась почти дословно «При лужке, лужке, лужке...»:

*При лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле...*

И когда я ее пел, то мне казалось, что пою я о себе самом, что это я в широком поле поймал коня, занудил его шелковой уздою и вот лечу и возле милких ворот его останавливаю...

Далее – бужу крепкий сон красной девицы и...

*Вот девица встала,
Сон свой рассказала.
Правой ручкой обняла
И поцеловала.*

Я всегда пел ее с радостью и подъемом, наверно, надеясь, что когда-нибудь это случится и в реальности.

Помню и несколько куплетов из песни «Отец мой был природный пахарь»:

*Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые люди,
А мать живьем в костре сожгли.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по волнам.
Но вдруг кусты зашевелились –
Раздался выстрел роковой.
Сестра из лодочки упала...*

А вот что дальше – забыл. Жаль.
Запомнился и куплет из песни «Синее море. Белый пароход»:

*Синее море. Белый пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток.
На Дальнем Востоке там пушки гремят.
Русские солдатики убитые лежат...*

И нам казалось, что это лежат наши отцы, что вот мы как-нибудь соберемся, найдем живую и мертвую воду, наберем и поедем на этот самый Дальний Восток. Окропим их. Они встанут. Мы разобьем врагов и

с победой вернемся. И тогда все узнают... и девчонки, кто мы такие.

Конечно, разучивали мы другие песни – по всей вероятности, о Ленине, о Сталине, о нашем счастливом детстве, но они как-то безболезненно забылись. Среди нас, мальчиков, исполнялась и такая песня:

*Позабыт, позаброшен,
С молодых юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, дали мне нет.*

Было это трогательно и печально. Заканчивалась она так:

*На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только ранней весною
Соловей пропоет.*

Эта песня, как никакая другая, соответствовала нашему положению, что невольно вызывало слезы.

* * *

А игры были такие.

Нас делили пополам, получалось две шеренги. Ставили эти шеренги одна напротив другой. Брались за руки.

И вот одна шеренга идет к другой и поет: «А мы просо сеяли, сеяли...» Доходит до второй шеренги,

топает ногой и, отступая на прежнее место, поет так:
«Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли...»

После этого вторая шеренга идет к первой и поет:
«А мы просо вытопчем, вытопчем...» Доходит до первой шеренги, тоже топает ногой и, отступая, повторяет:

Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем...

И далее у них происходит такой диалог:

1-я шеренга:

А чем же вам вытоптать, вытоптать?

Ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать?

2-я: А мы коней выпустим, выпустим.

Ой, дид-ладо, выпустим, выпустим.

1-я: А мы коней выловим, выловим.

Ой, дид-ладо, выловим, выловим.

2-я: А мы коней выкупим, выкупим.

Ой, дид-ладо, выкупим, выкупим.

1-я: А чем же вам выкупить, выкупить?

Ой, дид-ладо, выкупить, выкупить?

2-я: Мы дадим вам сто рублей, сто рублей.

Ой, дид-ладо, сто рублей, сто рублей.

1-я: Нам не надо тысячу, тысячу.

Ой, дид-ладо, тысячу, тысячу.

Тогда вторая спрашивает:

А что же вам надобно, надобно?

Ой, дид-ладо, надобно, надобно?

И первая шеренга отвечает:

А нам надо девицу, девицу.
Ой, дид-ладо, девицу, девицу.

Называется имя «девицы», это обычно кто-то из мальчиков, потому что девчонок у нас было всего две или три. И вот мальчик из первой шеренги, стоящий напротив этой «девицы», бежит и пробует «разбить» ее руки. Если разбивал, то забирал «девицу» с собой, если нет, оставался сам.

После этого «А мы просо сеяли, сеяли» начинала петь вторая шеренга. И так продолжалось до победы одной из сторон.

* * *

Еще была игра в Гусей, Хозяина и Волка.

«Гуси» вставали у одной стены.

У другой – «хозяин». А где-то между ними размещался «волк».

И вот «хозяин» кричит:

– Гуси-гуси!

Те отвечают:

– Га-га-га!

Он:

– Есть хотите?

Они:

– Да! Да! Да!

Далее точно не помню, но смысл такой.

Он зовет их:
— Летите ко мне!
Они:
— Мы не можем!
Он:
— Почему?
Они:
— Серый волк под горой зубы точит, съесть нас хочет.
Он:
— Ну, летите, как хотите.
И тогда «гуси» летят, вернее, бегут к своему «хозяину», а «серый волк» их ловит.
Кого поймает, тот выходит из игры.
И так до последнего «гуся».

* * *

Была и такая игра.
Мы садились в кружок, смыкали свои ладошки и устраивали их в коленках. Ведущий игру с камушком в руках шел вдоль нас, и ему нужно было в чьих-то ладонях незаметно его оставить.
При этом пели:

*Потерялся Иванушка
Среди белого камушка.
Этот камень у меня, у меня.
Говорите на меня, на меня.*

Но ни на Чворе, ни на самом Васюгане камушков не было никаких, были только песок и глина, и поэтому вместо камушка он, ведущий, держал обыкновенную пуговицу.

Другой мальчик, кто должен был отгадать, у кого он оставил, находился в сторонке, отвернувшись, чтобы не подглядывать.

Когда ведущий проходил всех, голящий поворачивался и называл имя предполагаемого обладателя камушка.

Угадывал он редко и только с намеками, и игра могла продолжаться, пока не надоест.

* * *

Ну, а игра в «Третий лишний» и сегодня известна всем и везде.

Еще, зимой же, мы в «малышовском» корпусе играли в бабки. Это такие кости. Их собирали возле нашей столовой, оскаливали и играли.

Играли в коридоре. Для этого проводили черту от стенки до стенки, на нее выстраивали наши бабки и с какого-то расстояния в них кидали самую большую и увесистую бабку-биту.

Надо было не промахнуться.

Кто сколько выбивал, забирал себе. Потом эти бабки можно было обменять на хлеб, сахар или на что-то другое.

Для нас они были как деньги.

* * *

Когда в корпусе не было ни воспитательницы, ни нянички, мы катали друг друга в табуретках. Для этого табуретку переворачивали ножками вверху, кто-то в нее садился, а другой катил. Потом менялись местами. А когда в корпусе были воспитательница и няничка или кто-то из них, кататься нам не разрешали. Это наше катание действовало им на нервы.

* * *

Зимой, морозным и ясным днем, кто-то из ребят зашел в спальню комнату и сказал: «А вот никто не лизнет ручку у входной двери?» (Откуда только он мог узнать, что из этого получится?)

— Как это никто?!

И нас человек пять вышли на крыльцо.

— Ну!

Мальчик, бывший среди нас побойчей, подошел к двери, взялся за ручку и лизнул.

Мы увидели, как его глаза широко открылись и наполнились слезами. Он силился что-то сказать, но получилось только бессмысленное мычание.

Мы засмеялись.

Взяв прилипший язык обеими руками, он начал его медленно отдирать, на ручке остался белый лоскут от языка.

Так, плача и держась за язык, мальчик забежал в корпус.

— Кто еще? — вызывающе сказал затейник и посмотрел на оставшихся. Никто не решался.

«Ладно, — подумал я, — у того мальчика не получилось, а у меня получится». К тому же мороз стал потихоньку пробираться под рубашку и надо было торопиться, чтобы не прослыть трусом и показать себя.

Я подошел к ручке, посмотрел на оставшийся на ней лоскуток, и меня взяло сомнение, что наверняка и со мной случиться то же самое.

И все-таки решился.

Я хотел это сделать быстро, только чуточку прикоснуться кончиком языка.

Как будто чей-то голос мне говорил не делать этого, но отступать было поздно.

Я высунул язык, чтобы кончик его был виден, и чуть-чуть коснулся им заиндевелой ручки. В тот же миг я понял, что попался.

Я стал усиленно дышать, соображая, что делать, а язык все больше и больше прилипал к ручке.

Чувствуя, что еще вот-вот, и я тоже заплачу, я отчаянно мотнул головой, освобождая язык, обвел всех взглядом: ну вот, мол, и ничего. Потом скосил глаза на свой язык, который горел, как на костре, и на нем стала выступать кровь, пошел в корпус.

Следующих уже не было.

Вот так.

Умные люди учатся на чужих ошибках, а я на своих набиваю себе шишки и всегда попадаюсь на том,

что с кем-то что-то там может случиться, а со мной — никогда.

И всегда — как в первый раз.

* * *

Один мальчик сорвал с девочки бусы, запрыгнул на мою кроватку. Она стояла возле окна, открыл форточку и выбросил их на улицу.

Девочка, плача, побежала собирать. Мы побежали за ней.

Стали искать.

Было начало весны.

Было тепло.

Снег был крупчатым и переливался на солнце всеми цветами так, что каждая крупинка его сама походила на бусинки.

Ребята находили и отдавали девочке.

А я, как ни старался, ни одной бусинки так и не нашел.

* * *

Воспитательница принесла баночку компота из чернослива.

Нас, как утят, поставили друг за другом в затылок. Мы подходили к ней, открывали свои клювики, она вкладывала в них по одной черносливине, и мы отходили. Было очень вкусно. Косточку я долго держал во рту, а потом нечаянно проглотил. Испугался, что

может что-то случиться, хотел даже признаться воспитательнице, но не решился. А косточка, видать, просто растворилась – во всяком случае, никаких неудобств из-за нее я не почувствовал.

* * *

Однажды зимой одному из мальчиков пришла посылка. Воспитательница с этим мальчиком сходила на почту и принесла ее в нашу спальню комнату.

И хотя у нас полагался «мертвый час», никто не спал, все ждали, что за посылка, что в ней?

Посылка была небольшой.

Ее открыли. В ней были яблоки, аккуратные и красивые, желто-зеленые с ярко-красными мазками по бокам.

И наша комната, где прежде пахло обчуренными простынями, ибо их сушили здесь же, у печки, вдруг наполнилась ароматом этих яблок.

Воспитательница попросила мальчика поделиться с нами, и несколько яблок разрезали на кусочки, чтобы каждому досталось хоть чуть-чуть. Мне так не хотелось съедать свой кусочек сразу, но я подумал: откушу сейчас совсем крошечку, а остальное придержу до ужина. Но только попробовал и уже не мог остановиться.

Как хотелось куда-нибудь туда, где тепло, где расстут яблоки, да столько, что их можно не только есть, но даже посыпать посылки.

До чего же тогда мы были чисты и наивны.

* * *

В другой раз, зимой же, нас опять построили в за-
тылок друг другу, и воспитательница из большой
эмалированной чашки черпала столовой ложкой зе-
леноватую жидкость и выливала в наши клювики.
Жидкость была подслащенной и пахла хвоей.

Мне очень понравилась.

Когда все прошли, в чашке еще немного остава-
лось. Из этого остатка мне досталась еще одна ложка.

Став взрослым, я узнал, что пихтовый настой
очень даже помогает от цинги.

И теперь, бывая в лесу, я непроизвольно беру
хвойную иголочку, если есть – пихтовую, и медлен-
но, не торопясь, наслаждаясь ее терпким смолистым
вкусом, разжевываю.

И опять все это встает передо мной, но так, как
будто это происходило не в реальной жизни, а в ка-
кой-то необыкновенной, еще никем не написанной,
сказке.

* * *

«Малышовский» корпус мне запомнился еще и
тем, что однажды перед сном мы стояли в две шерен-
ги, одна позади другой, и вдруг воспитательница го-
ворит: «Пока не признаетесь, кто это сделал, спать не
пойдете».

А кто что сделал, я даже не слышал. Может, кто-то
и пукнул совсем невзначай, или еще что.

Какое-то время мы стоим.
Никто не признается.
«Ну что, будем молчать?» – более жестко говорит она.

Тут кто-то из мальчиков не выдержал и заплакал.

И меня охватила такая жалость к нему, что я почувствовал, что еще немного, и сам заплачу, и я сказал, что это я сделал.

Поверила ли воспитательница в мое признание, не знаю, ведь то, что произошло, произошло совсем в другом конце, но ребят она отпустила, а меня оставила.

Потом, немного постояв со мной, спросила:
«Больше не будешь?»

Я сказал: «Не буду».

Она отпустила и меня.

Но и после этого никто не сознался.

Наверно, не надо было мне с детства приучаться чужие провинности брать на себя.

А, может, не провинность чью-то я взял на себя, а разделил боль того слабого мальчика, который заплакал? Правильно ли я поступил?

Теперь это все далеко где-то.

* * *

Был месяц май. Снег уже сошел, но огороды еще не садили. Утром, после завтрака, кто-то из ребят забежал в спальню комнату и таинственно сказал:

– Ребя, айда, там Элька.

Элька – это дочка медички, что работала в больнице.

Мы выскочили из корпуса, обежали его и на солнечной стороне увидели Эльку.

Вообще-то ее мама звала ее Аллой.

Для деревенских она была Элей, а для нас Элькой, ведь у ней была мама, свой дом, не то что у нас, и мы при случае старались досадить ей. Их огород подходил прямо к стене нашего корпуса.

И хотя Эля жила без папы, картошка в их огороде всегда вырастала высокой и кустистой, почти в наш рост. К середине лета картошка начинала цвести. Цветы собирались в бутоны и были всевозможных красивых оттенков и пахли невыразимо приятно. Потом на их местах образовывались балаболки, за которыми мы лазили, чтобы посоревноваться – кто дальше и выше запустит свою балаболку, предварительно наколов ее на кончик березового прута.

Завалинку вокруг корпуса еще не разобрали, не отгребли опилки, чтобы просушить подпол, и Эля разложила на ней свои игрушки: осколки черепков и стекол, клубочки ниток, коробочки с ватой внутри для своих тряпичных куколок, маленькое круглое зеркальце, пуговки всевозможные и что-то там еще.. Наверно, она играла в больницу.

Во что еще может играть маленькая девочка, чья мама работает в больнице?

Она так была занята игрой, что даже не заметила, как мы подкрались и окружили ее.

— Ага, попалась, — закричали мы.

В белом коротеньком платьице, с большими голубыми глазами, опущенными бархатными ресницами, с двумя бантами в белых же, слегка золотистых волосах, курчавящихся на височках, она сама походила на куколку из неведомого нам царства.

Она оглянулась на нас испуганно и удивленно, не решаясь ни что-то сказать, ни что-то сделать.

И сами мы были обескуражены ее молчанием.

Если бы в этот момент она пошла в нашу сторону, мы бы расступились.

Но кто-то из ребят нарушил молчание:

— Покажи.

— Покажи. Покажи, — стали говорить и другие, стоявшие ближе к ней. Она, как под гипнозом, взяла подол платьица своими маленькими пальчиками и стала потихоньку поднимать: выше-выше-выше.

— Э-э, — пиложок, пиложок, — выкрикнул чей-то писклявый голос.

— Пирожок, пирожок, — подхватили остальные.

И на глаза Эли стали наплывать слезы.

Она смотрела на нас, не мигая и не отпуская платьица, а слезы текли и текли.

И мы стали расходиться.

* * *

Когда мы пошли в школу, нас из «малышовского» корпуса перевели в старший. Выдали нам холщовые сумки с лямкой для ношения через плечо. Выдали

также ручки и чернильницы. Сначала чернильницы были простые, похожие на маленькие пластмассовые стаканчики, которые через год-другой заменили на непроливашки. Горлышки непроливашек были сделаны виде воронки. Такие чернильницы можно было опрокинуть вверх дном, и чернила из них не проливались.

Перья тогда были: «колос», «лягушка», «рондо»..., были и других названий, которые к сожалению, уже забыл.

А чернила были обыкновенные, фиолетового цвета, с ними всегда было непросто – они быстро за канчивались.

Тогда их приготавливали из стержней химических карандашей, а потом и из обычной печной сажи. Для этого мы залезали между стеной и печкой под самый потолок, открывали дверцу и из-под выюшки соскабливали, разводили водой, и получались чернила, иногда даже неплохие.

Учительницы уже знали: если чернила черные, значит, из сажи. Учиться мне нравилось.

У нас были предметы: чистописание и правописание, чтобы мы писали чисто и правильно, то есть, где надо, проводили линию с нажимом, а где наоборот – отпускали, чтобы линия выходила потоньше.

Иногда получалось даже красиво.

* * *

Учебников у нас было мало, а книжек не было совсем. Мы собирались в классной комнате вокруг стола, на который ставили керосиновую лампу, снятую со стены.

Кто-нибудь из мальчиков, кто хорошо и бегло умел читать, садился за стол поближе к лампе и громко, с расстановкой, чтобы все слышали, читал.

Если домашнее задание было письменное, мы писывали, если устное – запоминали.

После нескольких прочтений воспитательница проверяла, кто справился. Справившихся она отпускала, а не справившихся оставляла.

И так до самого последнего.

С последним занималась сама.

* * *

Летом мы книжек почти не читали, некогда было, уставали, за день-то набегавши.

А зимой – да. Перед сном, когда домашние задания всеми выполнены и проверены, мы собирались за столом, теперь уже в спальной комнате, и самому – самому-самому лучшему чтецу доверяли читать.

На потолке над лампой обозначался кружок, похожий на солнышко. Это солнышко окружали тени от наших голов, склоненных возле читающего. Мы окружали его так плотно, что стены и углы спальной комнаты погружались во мрак.

Книжки нам приносила воспитательница, и часто она сама переходила с нами из классной комнаты в спальню послушать и объяснить, что нам бывало непонятным.

Но более всего мы потому туда перебирались, что в ней с вечера затапливали печку, чтобы к отбою спальная комната прогрелась, а печка успевала прогореть, и поэтому там становилось тепло и уютно.

Из прочитанного мне хорошо запомнились «Песня про купца Калашникова...» и «Бородино» Лермонтова. Они были интересными, складными и с хорошими цветными картинками. Запомнилась еще и книжка о партизанах.

Кажется, она была написана командиром партизанского отряда Медведевым о боевом пути этого отряда и называлась «Это было под Ровно». Остальные в памяти как-то затуманились.

* * *

Зимой, в хорошую погоду, когда домашнее задание выполнено и воспитательница проверила, и на улице еще не так темно, самое время покататься на лыжах или на коньках.

У нас были коньки: «снегурочки», «ласточки», «дуты», без ботинок, и крепились к валенкам укрутками. Все они, как и лыжи, принадлежали старшим.

Чтобы их заполучить на часик-другой, надо было обладателей отблагодарить – принести вечернюю

пайку или «нашибать охнариков», то есть насобирать окурков.

И вот мы с Олегом идем к клубу к окончанию фильма. Идем загодя, чтобы не упустить время, когда начнут выходить. Иногда приходим слишком рано, но стоим, мерзнем, ждем, прислушиваемся, что там происходит на экране.

Фильм заканчивается.

Двери открываются. Мужики выходят с уже готовыми самокрутками. Мы выбираем кого-нибудь и идем за ним.

Если светит луна и небо ясно, то любо-дорого идти – все видно, наверняка не пропустим, когда выбросят окурок.

Снежок поскрипывает. Мороз пощипывает. Тишина аж звенит. Часто то справа, то слева раздается как бы глубокий вздох, это на Кривошеенском ручье проседает лед.

Но вот окурок летит в снег. Мы бежим, подбираем, и, если он жирный (толстый) и еще не погас, то разок-другой зобаем (затягиваемся) сами и гасим – охота на лыжах-то покататься.

А бывает и так, что идешь, идешь за кем-нибудь, а он докурит свою цигарку до самых губ, еще и обмусолит, что противно в руки брать, но берем – хоть несколько табачинок. Ведь если ничего не принесем, ничего и не получим, только баш на баш.

* * *

На зиму нам выдавали пимы, не новые, конечно, но вполне сносные, подшитые.

Сначала мы их берегли. Ну прокатишься разок-другой, а потом только и ищешь подходящее местечко.

Особо хорошо пимы скользили, когда наступишь в коровью лепешку, а после еще слегка макнешь в прорубь, тогда они несутся с горки, только держись.

Одно плохо, что при сушке пимов запах стоял... невозможный.

И няни, и воспитательницы нас ругали за это, но разве можно устоять, чтобы не прокатиться с ветерком.

Естественно, пимы наши быстро худились, образовывались дыры. Туда мы подкладывали соломы: и теплей, и не так набивается снег.

Шапки у нас были тряпичные, как у учащихся РУ и ФЗО (ремесленное училище и фабрично-заводское обучение).

Ни шубок, ни теплых курток, ни свитеров – ничего подобного не было, и мы часто простывали, кашляли, сопливили.

Нас лечили сами воспитательницы, прямо в спальной комнате.

Для этого перед сном в печку, когда нагорало много углей, клали обыкновенный красный кирпич. Возле печки ставили табуретку, на нее таз с водой. Кирпич накалялся до белины. Его вынимали и клали

в таз. Таз шипел и парил, как вулкан. Нас, каыхающих, подводили к этому вулкану, наклоняли над ним наши головы, накрывали одеялом и заставляли дышать ртом.

Пот лился ручьями.

Пар обжигал, как огонь.

Мы трепыхались изо всех сил, но держали нас крепко, чтобы мы не вывалились оттуда раньше времени.

Затем на койках нас укрывали несколькими одеялами, края которых подтыкали под матрас, и утром, глядишь, мы снова здоровенькие.

Лечение довольно простое, но вполне эффективное.

* * *

Свои вечерние птички (пайки хлеба) мы с Олегом выносili не всегда только с тем, чтобы отдать старшим за лыжи или коньки, или с целью подлизаться (чтобы при случае заступились), но и с тем, чтобы их заморозить, а утром погрызть.

Для этого после ужина, когда все идут из столовой к корпусу, надо немножко приотстать, вроде не специально, и как только последний скроется в дверях, бегом к вертушке, что служит калиткой в штакетнике, огораживающем детский дом.

Выбегаем на улицу, верней, на набережную, которая весной и летом служит жителям Чижапки еще и прогулочным местом.

На ней находились, если считать от Чвора, по левую руку – небольшой обрыв на пойму Васюгана, а справа пекарня – почта – дом участкового милиционера – магазин, за магазином, перпендикулярно набережной, шла улица на мост через ручей.

За ручьем направо тянулась Кривошеенка, а слева стоял овин (большой крытый сарай, куда свозили снопы для обмолота). Дальше по дороге шли поля первой, второй и третьей корчевок, а за корчевками – лес, тайга, урман.

По набережной через эту улицу, на другой стороне, стояла наша деревянная двухэтажная красавица школа-семилетка.

За ней главный, тоже двухэтажный, детдомовский корпус с двумя балконами по торцам – мужским и женским.

Далее шел больничный сад (участок нетронутого леса), на краю сада – больница.

Выбегаем и переходим на шаг, а сами оглядываемся: не следит ли кто? И если никого не замечаем, то где-нибудь на штакетнике, так, чтобы были не видны, припрятываем свои птички, или бросаем в снег, рискуя, что их могут съесть собаки.

Убедившись, что они спрятаны надежно, возвращаемся в корпус. Если чувствуем, что за нами следят, то перепрятываем один и другой раз, сбивая выселяющиеся с толку.

Утром, после зарядки, бежим за ними.

Но перед тем как начать грызть, надо не забыть сказать: «Сорок один – ем один». И тогда никаких вопросов, грызи на здоровье. А если не успеешь или забудешь и кто-то скажет: «Сорок два – ем два», обязательно делишься, таков закон, даже если тот, кто это говорит, тебе совсем неприятен.

Но могут попросить и так: «Охмырни!», то есть угости! И тут на твое усмотрение: хочешь – охмырни, не хочешь – не надо, никто ничего не скажет, но при случае припомнят: «Вот тогда-то ты меня не охмырнул». И тут кто-то первым должен пойти на уступку.

Бывало и так: прибежишь за хлебом, а его и нет, только заметны чьи-то следы. Значит, кто-то все-таки выследил, подсмотрел. А кто? Пойди, узнай. Никто не признается.

Теперь я иногда думаю: зачем мы это делали – морозили хлеб и грызли его? Да просто мы были маленькими, нам было лет по семь-восемь, от силы – девять, у нас выпадали молочные зубы, росли новые, надо было им помогать, укреплять десны, что мы, не осознавая того, и делали.

В детском доме все жили своими компаниями по два-три человека. Мы вот водились с Олегом. Другие – с другими. А все вместе была наша группа. Потом – детский дом.

* * *

Говоря о детском доме, надо сказать и о играх, в которые мы играли.

Если о девчонках.

Наши девчонки, как и все девчонки, прежде всего, играли в куклы. Они их шили сами, из тряпочек: голова, тело, ручки, ножки. Головы кукол повязывали платочками. Угольками рисовали ротик, носик, глазки, брови. Укутывали их. А еще у девчонок было занятие — они распускали свои старые чулки, и нитки наматывали в клубки. Это было как бы их приданное.

Мы же, ребяташки, весной, как только подсыхала площадка между школой и нашим старшим корпусом, начинали играть в лапту. Приходили и поселковские ребята, даже взрослые — поиграть, поболеть. Часто играли только детдомовские против только поселковых. Мы были более сплоченней и тренированней, и выигрывали чаще. Но, бывало, выигрывали и они, особенно, когда наши лучшие игроки начинали мастериться, явно играть на публику.

Майские вечера были светлые и долгие. На полях, особенно в низинках, стояли лужи и лежал снег. Так что это самое время поиграть, размяться.

В начале июня начинались полевые работы, да и наши старшие ребята уезжали на Успенку сажать картошку, капусту и другие овощи. Оставались только мы, малышня, первый-второй классы, и мы как-то само собой переходили на городки.

Но сначала несколько слов о лапте.

В лапту могли играть сразу человек десять, а то и больше. Делились на две команды. Капитаны брали биту и попеременке перебирали ее руками, и, чья рука была последней, то есть не могла удержать биту на весу, та команда располагалась в поле – голить, а соответственно другая на черту – играть. Черту проводили с таким расчетом, чтобы поле получилось достаточное и удобное для игры.

Ни гуттаперчевых, ни резиновых мячиков у нас не было, и мы свои мячики делали из березовых губок ранней весной, когда они были мягкие и напитаны влагой, или приготавливали с прошлого лета. Вырезали из них шарики, постоянно их мали, стараясь, чтобы они были покруглей. Получались они легкими, прыгучими, и если при игре ими попадали, было весьма ощутимо.

Играющие располагались на черте. У первого – бита. Кто-то из голящих был подающим. Он становился напротив первого игрока и подбрасывал мяч на ту высоту, на какую показывал игрок своей битой. Если бита попадала по мячу и мяч летел далеко в поле, то ударивший бросал биту и бегом устремлялся к черте на противоположной стороне площадки, там он становился в безопасности, а если успевал, то мог и вернуться обратно на исходную позицию. Голящие старались мячик поймать, и если при ударе ловили, то команды менялись местами, а если брали от земли после отскока, то норовили «засалить» бегущего. Когда бьющий промазывал по мячу или у него не полу-

чалось удара, он становился в хвост своей команды, чтобы при удачном ударе следующего игрока перебежать на противоположную черту, а оттуда стараться вернуться к своим.

Когда команды подбирались равными, тогда играть было интересно, а когда одна сильная, а другая слабая, то игроки сильной команды как бы забавлялись – запускали «свечи», то есть били по мячу так, чтобы он летел не вдали, а ввысь – кто выше.

Еще играли в городки и «чижика».

Но самой веселой и шумной была игра в попагоняло.

Здесь особенность такова: брался один городок – поп.

Каждый со своей битой-шаровкой становился на черту и через голову ее бросал. Чья бита дальше всех, тот бил по городку первым, а чья бита оказывалась ближе, тот голил. Случалось, что первый так далеко выбивал городок из города, что некоторые не могли до него даже добротить.

Тогда тот, кто голил, брал недоброшенную биту и бросал ее вперед изо всех сил, как можно дальше, выводя ее обладателя из игры.

Часто с этим попом-гонялой проходили чуть ли не пол Усть-Чижапки. А потом самые умелые городошники подстраивали так, что надо было возвращаться.

И вот – голящий с городком, остальные со своими битами – бежим в обратном направлении к городу,

чтобы «застучаться». Последний голит. Не проходило и без «хлюзд», то есть обманщиков, но таких в следующий раз могли в игру и не принять.

Однажды летом в Чижапку привезли трофейные фильмы: «Тарзан», «Робин Гуд» и «Королевские пираты».

Посмотрели «Тарзана» – стали прыгать по чворским обрывам, переплывать на остров и там лазить по черемухам и тальникам и орать, как нам казалось, дикими голосами.

Посмотрели «Робин Гуда» – смастерили луки и стрелы, ходили с ними на третью корчевку охотиться на бурундуков и белок. Лучниками мы оказались никудышными, и скоро это занятие оставили, да и стрел было не напастись.

А когда посмотрели «Королевские пираты», устроили на Чвору настоящее морское сражение.

Тогда лодки никто не привязывал, тем более не запирал на замок. Обласки и лодочонки просто вытаскивали на берег и переворачивали для просушки и чтобы во время дождя в них не скапливалась вода. Часть ребят села на неводник, это, в основном, те, кто не умел плавать, или умел, но плохо, и кто не мог управлять обласком. Была часть и других – для равновесия сил. Я был на неводнике.

В ту пору я уже мало-мальски умел плавать: пособачьи, на боку, на спинке, даже вразмашку, и мог, пусть с большим отставанием от хороших пловцов, переплыть на остров.

Выплыли на середину Чвора. Заняли свои позиции и – началось сражение. Обласки и лодочки со всех сторон пошли на неводник, чтобы взять нас «на абордаж».

Наши гребные весла были крепче и длинней, и мы их не подпускали к своим бортам. Тогда они собрались вместе и все разом пошли в атаку на один борт. Мы сгрудились на нем же, отталкивая обласки и лодки и сваливая в воду карабкающихся на неводник. Началась нешуточная возня и неводник стал крениться-крениться..., и перевернулся. Все, кто был на нем, оказались в воде.

Потом, через много лет, когда мы с другом Олегом вспоминали об этом сражении, он говорил:

– А ты знаешь, когда неводник перевернулся, то все, кто оказался в воде, поплыли к берегу вразмашку, все как один, даже те, кто совсем не умел плавать.

А лучше всех у нас плавал мальчик по фамилии Кандинский, все его тело было над водой, и когда он плыл, то казалось, что он не плывет, а быстро-быстро, перебирая руками, бежит по воде на четвереньках.

Я оказался рядом с неводником, испугаться не успел, к тому же кругом были ребята. Я ухватился за борт неводника. Его днище, как спина гигантской рыбы, возвышалась над нами, маленьками рыбешками. Оттуда послышались веселые крики. Я поднырнул. Там уже было полно ребят. Мы хохоча, стали выныривать и подныривать под неводник.

Когда жара сражения спала, мы подогнали наши «корабли» к берегу, перевернули их, вычерпали воду и вытащили на свои места, как было. В общем, сражение закончилось и без победителей, и без побежденных, то есть без потерь, а ведь только чудо спасло многих ребят: если бы кого задел борт переворачивающегося неводника, ничего бы не помогло. Странно, за это сражение нас никто не ругал. А кому было ругать? Все были или на работе, или отдыхали.

Середина лета. Июль. Веселое время.

* * *

С рыболовными крючками у нас всегда было сложно. Зимой, помня, что сани готовят летом, а телегу – зимой, я изготовил себе крючок из обыкновенной иголки. Я ее нагревал над стеклянной колбой керосиновой лампы и загибал. И пальцы как-то не обжег, и крючок вроде бы получился, и ведь без всякого инструмента. Но до лета было еще далеко, и его надо было как-то сохранить. Я вспомнил, что в бревнах новой столовой есть отверстия от выпавших сучков и решил туда спрятать, с уверенностью, что там его никто и искать не станет. Я пропитал тряпочку маслом, завернул в нее крючок, положил его тайком в одно из этих отверстий и замазал мякишем черного хлеба. Потом. Когда пришла пора доставать крючок, я долго искал это самое место, где он был спрятан, но так и не смог найти.

Даже через много лет, когда я приехал в Чижапку со своим братом Ильей, и нас приютил наш бывший директор Виктор Александрович Сухушин, я вспомнил про этот крючок, хотел его все же отыскать, но и в этот раз безуспешно. Детского дома в Чижапке уже не было, корпуса и столовая еще стояли, но были полуразобранными, без дверей, без окон, а частью и без пола. Не было там ни сельского совета, ни школы, ни колхоза. Магазин работал два-три раза в неделю по часу-другому утром и вечером. И хотя стояла хорошая погода, и мы ходили рыбачить на Васюганский ручей и неплохо ловили, невероятная тоска и грусть сжимали мне сердце. Поля первой, второй и третьей корчевок давно не возделывались и заросли разнотравьем, а на края их стала наступать тайга, начал подниматься сорный лес.

Дорога, идущая через все корчевки, пока служила взлетно-посадочной полосой для самолетов Ан-2 Каргасокского авиаотряда, тогда еще летающих по поселкам и деревням, расположенным на реке Васюган.

Когда мы улетали, то пилоты для нас сделали прощальный полукруг над Кривошеенкой и самой Усть-Чижапкой, покачали крыльями, вышли на Васюган и вдоль него пошли на Каргасок.

* * *

Наши рыболовные снасти были весьма примитивны и сделаны нашими же руками.

Лески готовили еще зимой. Их свивали из белых ниток в несколько рядов. Из черных ниток лесок не плели, считали, что черный цвет будет рыбу отпугивать.

Леску над крючками обматывали медной проволокой, для крепости, а заодно и грузила, но крючки часто откусывали, особенно, если рыбачить, где водятся щуки – возле травы и затопленных коряг. И мы старались не рисковать, а выбирали места, где можно и половить, и позагорать, и не волноваться за крючки.

Поплавки для удочек делали из балбери – толстой коры хвойных деревьев. Для этого специально ходили в лес на третью корчевку и искали на деревьях (живых или поваленных) такую кору. А удилища срезали в тальниках, растущих возле Васюганского ручья.

Хорошие и уловистые удилища или прятали на месте, или носили с собой. Даже и по прошествии стольких лет, подумаю о Чижапке, о нашем детском доме, и вижу:

Ясное утро, солнце поднимается все выше и выше, по заливному лугу, вытканному нежно-зеленой шелковистой травкой, идут ребята, человека три-четыре, босые, гачи (штанины) засучены до колен, чтобы не замарать, на плечах удилища, в руках баночки с на-

живкой, в карманах утренняя порция хлеба, будет хороший клев, обойдутся и без обеда.

Возле самого берега Васюгана пасется пестрое колхозное стадо. Над самыми головами ребят летают необыкновенной красоты стрекозы, большие и маленькие, ловя еще не спрятавшихся мошек. Иногда стрекозы садятся на удилища, на рубашки, на руки и даже на лица.

Щикотно, но ребята их не отпугивают, не ловят, а показывают друг другу и улыбаются, восхищаясь ими.

Попадающиеся озерки окаймлены густой и остной, как бритва, осокой, там омута, туда страшно подойти.

Звенят и прыгают из-под ног кузнечики.

В безоблачном небе плавится солнце.

Одинокий коршун недвижно парит в сияющей высоте.

Васюган. Усть-Чижапка.

Счастливое детство.

* * *

Девчонки свои старые чулки распускали на нитки, а нитки сматывали в клубки. Это было их приданное. Мы же, мальчишки, копили деньги и хранили их в баночках из-под крема для обуви. Откуда брались деньги? Да случалось, находили по копейке, по двушке, а то и по десятирублевому. Но терпения хватало недолго. Как только в баночке что-то обозначалось, шли в магазин

и покупали конфеты-подушечки. Тогда нам казалось, что они самые вкусные, так бы и ели, и ели, и ели...

Раз летом, на Васюганском ручье, нас, человек пять, наловили большую сиззку чебаков и окуней. Сами пожарили на костре, еще понесли в Чижапку продать. Сиззка была большая. Ее несли попеременке по двое за оба конца. Рыбы давили одна на другую, и слабые отпадали. Сначала мы их подбирали и несли в руках, потом в подолах рубашек, а потом подбирать не стали.

Время было – после обеда. Стояла жара. Даже комары и мошки попрятались. Покупателя искали недолго. Согласилась купить одинокая женщина, жившая в избушке над самым чворским обрывом. Она повесила нашу сиззку на крючок весов в виде пружины со шкалой, на которой из-за ржавчины едва просматривались цифирки, слегка тряхнула ими, чтобы мы убедились, что они исправны, и наши чебаки посыпались на землю, как игрушки. Цену обозначила в три рубля.

Кто-то из ребят просил пять. Но торг все же остановился на трех.

Когда мы получили довольно мятую трешку, стали строить планы, как лучше ею распорядиться. Планов было много и разных, а когда дошли до магазина, то зашли и купили подушечек на все три. Но никогда больше по стольку мы уже не ловили.

* * *

Все чаще стали поговаривать о «вольном хлебе». Вольный хлеб! Вольный хлеб! А что такое вольный хлеб, никто не знал.

Почти за час до обеда мы, мальчики, собирались возле столовой. Ходим, в нетерпении заглядываем в окна, узнать, что такое вольный хлеб.

— Вольный хлеб! Да это когда ешь сколько влезет. От пузза.

— Скажешь тоже, от пузза знаете сколько я слопаю, буханку целую.

— И я бы столько смог.

— И я.

— И я.

Окна занавешаны, и как накрывают на столы, никак нельзя подсмотреть. И вот дежурная воспитательница открывает двери столовой.

Мы, кто быстрей, со своим боевым кличем «ураганным огнем налетаем на птичку» ломимся туда. Какое там построение, чистые ли руки, быстрей за стол, быстрей схватить свою птичку, а если вольный хлеб, то и вторую, и третью — лишней не будет. И большие тарелки, наполненные с горкой, вмиг опустели.

Виктор Александрович, лично присутствующий на первом обеде с вольным хлебом, нарочно громко, чтобы все слышали, сказал поварихе:

— Настенька, что ж это вы, столы накрыли, а хлеба на столах нет?

— Что вы! Что вы! — растеряно сказала Настенька. — Мы вместе (она назвала имя воспитательницы) и нарезали, и разносили, мы не забыли.

— Да, Виктор Александрович, — подтвердила воспитательница, — мы всегда сначала на столы хлеб ставим.

— И все же нарежьте, нарежьте, а то ребята уже первое заканчивают.

Воспитательница и двое дежурных по кухне в большой кастрюле разнесли хлеб и наполнили опущенные тарелки.

Мы немного застеснялись и незаметно стали доставать припрятанный хлеб и класть его на общие тарелки. Горки почти удваивались. После второго (каши) и третьего (компота) оставшиеся кусочки все-таки разобрали по карманам: кто знает, сейчас вольный хлеб, а на ужин? Вдруг отменят.

После того, как мы закончили обедать, встали, сказали «Спа-си-бо!» и пошли к выходу, то каждый держал свои руки возле карманов, чтобы не так было заметно, что они оттопыриваются.

Вольный хлеб — праздник нашего детства.

* * *

Детский дом приобрел небольшой движок, работающий на бензине, как сегодня сказали бы — двигатель внутреннего сгорания. Летом его установили на неводник, и когда он шел по Васюгану, стук его был слышен издалека, особенно по утрам, когда легкий

туман стелется над водой и солнце еще не взошло, но уже его первые лучи вот-вот выглянут из-за острова, и мы приходили на ручей до подъема посидеть на угренном клеве, зная (по договоренности), что с завтрака наши птички (порции хлеба) ребята нам принесут.

Межу конторой и погребом, у самой больничной изгороди, построили небольшую избушку, куда после завершения работ на Успенке перетащили движок, чтобы он вырабатывал электрический свет.

Все лето копали ямы, привозили лесины и обтесывали их под столбы, ставили их и натягивали провода.

В корпусах, столовой и конторе проводили проводку, устанавливали выключатели и розетки, подвешивали патроны, а мы думали: зачем это? И как может по проводам идти свет? А как наливать керосин в лампочку, что висит на потолке?

Вопросов было много, и мы ждали, что будет.

И все-таки свет дали только к Новому году.

На самый Новый год!

* * *

Шишковать (бить шишки) мы ходили в три места. Первое – это возле гати по дороге от Чижапки к Березовке. Там была неширокая сырья низинка, и вдоль этой низинки росли кедры. Лазить на них было довольно легко, нижние ветви начинались почти от самой земли.

Второе место – если идти за могилки по дороге вдоль ручья к старой мельнице. Место там сухое, и поля чередуются с хорошим здоровым лесом. На кедры можно было залезть, но не на все. Здесь бурундуков было – множество.

Третье место – это третья корчевка. На ней промышляли настоящие шишкари, и это место они охраняли. Мы же ходили туда подбирать то, что оставалось после них. Кедрач они обрабатывали ботами (колотушками), похожими на толстые небольшие жердины, на один конец которых насаживали кругляк с метр, а то и полтора длиной. Свободный конец ставили на землю возле ствола, а самой колотушкой били по стволу. После таких ударов шишки сыплются градом, только успевай уворачиваться, да подбирая. Но все шишки ни сбить, ни подобрать они не могли, что-то оставалось и белкам, и бурундукам, и кедровкам, и... нам.

Возле гати кедры сначала осматривали с земли, выбирали лучший и на него залезал, кто половчей. Он осматривал соседние кедры и кричал, кому на какую лезть. Обычно самые шишки на макушке и около макушек...

Как-то один мальчик взялся за макушку обеими руками, чтобы ее согнуть, а она обломилась, и он с этой макушкой в руках спарашютировал вниз. Хорошо, что угодил на мох между корней, а то... кто знает.

На второе место ходили, когда на кедрах шишек уже не было. Втроем, вчетвером шли искать бурунду-

ков. Но не только ради них и их орешков – хорошо в позднем лесу, красиво. Каждое дерево стоит в своем особом наряде. Вот березка, русская любимица – вся в желтом.

Осина – в красном, аж застыдилась. Рябина – она встретится и в ярко-желтом наряде, и в бордовом, а кисти ягод на ее ветвях сияют, как серьги, она весела и даже кажется беспечной. Стойная лиственница – в наряде сочной желтизны. Она уверена в себе, горда и величава. Сосна, пихта, ели и кедры – их не очень беспокоит, что вот-вот ударят морозы, посыпется снег, они останутся такими же в своем зеленом убранстве, только чуточку этот цвет загустеет, станет темней, все-таки зимой и им холодно.

У молодого подлеска тоже свой наряд, он поскромней, но каждый побег имеет свой окрас и как бы говорит: «Я вот тот-то, меня не путайте». А мы и не путаем, мы хорошо разбираемся в лесу.

Наши собаки, даже если мы их и не позвали с собой, обязательно нас догонят. Вот и они.

Нет, все-таки осень – особая пора, она с удивительной щедростью показывает нам без утайки: мол, глядите, любуйтесь, восхищайтесь.

Мы идем не спеша. Идем. Глядим. Слушаем. Собаки разбежались по лесу. Наши собаки: Жучка – самая старшая, серо-белая, крупными пятнами, настоящая сибирская лайка. У нее маленькие треугольнички ушей. Над глазами желто-коричневые пятачки, как бы вторые глаза. Умная мордочка. И пушистый хвост

калачиком. Когда нас привезли в детдом, она уже там жила. Попусту она никогда не залает, ну, если принесешь ей косточку или кусочек мяса и попросишь: «Жучка, голос!» Шарик. Тоже пестрый окрасом. На охоте с Виктором Александровичем повредил переднюю правую ногу, и она у него волочилась. Мы ее перевязывали, но перевязки надолго не хватало, ибо он был вожаком наших собак и везде хотел быть первым. Хороший был песик. Жалко было. Но усыплять его не давали. От Жучки и Шарика был Индус. Он появился уже при нас. Мы его кормили со щенячьих дней. Вырос он полностью черный, без единого пятнышка. Высокий, поджарый, с широкой грудью. Ростом чуть ли не с маленького теленка. Мы садились на него, подгибали ноги, а ему хоть бы что. Он был и охотник (в своих родителей), и ревнивый охранитель нашей территории.

Стоило какой поселковой собаке забежать на нашу площадку, как откуда-то вылетал Индус, сбивал ее с ног и какое-то время стоял над ней, как бы не обращая на нее никакого внимания. А потом спокойно отходил, позволяя той уйти. Сбитых он никогда не кусал.

Залаяла Жучка. Ее лай звонкий, заливистый – значит, увидела белку, заводит с ней игру и подзывает нас. Но белку нам не надо. Вот и Шарик с Индусом подают голоса. Их лай короткий, отрывистый, нетерпеливый – нашли нору, сворачиваем туда.

Под высоченным кедром между лапами корней –

нора. Индус разрывает ее и пробует пролезть. Шарик бегает вокруг, стараясь помочь, и смотрит, не выскочит ли где бурундук. Вот вместе с землей стали попадаться и орешки. Собак придерживаем, а нору аккуратно разгребаем руками. Много забирать у бурундука нельзя. Прибежит, увидит, что разорен, от горя может покончить с собой. Найдет на дереве развилку, сунет туда голову – и все. И мы берем каждому понемножку, но какого! Отборного. Одно к одному. Нам и хватит. Пощелкаем. Походим по лесу и к ужину еще успеем. А найденный клад опять присыпаем, чтобы другой кто не нашел. Может, бурундук отремонтирует его, переложит орешки, а, может, и перепрячет. У него не один клад припасен.

* * *

К началу учебного года детдом приобрел для наших девчонок новые сорочки. Когда их (девчонок) сводили в баню и стали одевать, то двух сорочек не досчитались. В итоге оказалось, что новенькие воспитательницы, сами еще совсем девчонки, взяли их себе.

Поднялся шум, так что и мы, мальчишки, узнали об этом. Нам было жаль воспитательниц, может быть, они никогда не носили таких красивых и новых сорочек, что не удержались. Их хотели даже судить. Но потом решили этого не делать. И все-таки одной воспитательнице пришлось уехать, хотя она плакала и просила ее оставить.

* * *

Зимой почту по Васюгану развозили на лошадях, запряженных в кошевку, с обязательным колокольчиком под дугой. Его можно было услышать аж из-за острова. Легко и весело разносился в морозном воздухе заливистый перезвон. И, пожалуй, у каждого детдомовца начинало трепетать сердце: а вдруг нашлись мама и папа и прислали весточку, что живы, что не забыли, что помнят и что скоро-скоро приедут и возьмут к себе. И когда колокольчик звенел, мы выбегали на взвоз как раз возле занесенного снегом моста между Чижапкой и Кривошеенкой и ждали, чтобы сзади прицепиться к кошевке, спрятавшись за спинкой, и таким образом прокатиться.

Иногда возчик отгонял нас бичом, а иногда просто не обращал внимания, и тогда можно было на запятах кошевки доехать до самой почты. В особо морозные дни почтовые лошадки покрывались инеем: и бока, и спина, и ноги, и грудь, и голова, и ресницы. Из ноздрей вылетали густые клубы пара. При маломальском воображении такую лошадку легко можно было принять за доброго одноголового Змея Горыныча, запряженного в кошевку и развозившего почту по селениям Васюгана.

Иногда и нам в детдом приходили письма, но только немногим счастливчикам, у которых где-то отыскивались родственники.

И мне приходило несколько писем, сначала от брата Ильи, а когда его взяли в армию, от сестры Наташи.

Однажды я написал ответ на ее письмо, наверно, об учебе, об оценках, осталась свободной какая-то часть листочка. Я решил ее заполнить и написал стихотворение. Начиналось оно так:

*Я пишу, рука тряется.
По письму перо плетется.*

Вторая строчка меня обрадовала своим звуковым рядом: п – п – п – п. Заканчивалось стихотворение так:

*А со стула на кровать,
Больше нечего писать.*

А вот что было между двумя первыми и двумя последними строчками, никак не могу вспомнить. Что же там могло быть? Окончание «кровать – писать» мне не нравилось, но ничего более звучного придумать не смог и отправил, что получилось. Через многие годы, когда мы встречались, она говорила, что письмо это ее страшно развеселило и всегда, когда она его перечитывала, просто не могла удержаться от смеха.

И сожалела, что письмо это не сохранилось, а я до сих пор никак не могу вспомнить те недостающие строчки, как не могу вспомнить и масти лошадей, хотя в ту пору мы в этом очень даже разбирались.

* * *

Один мальчик, еще до фильма о Котовском, посмотрел фильм про Чапаева впереди нас.

Ему каким-то образом удалось договориться с механиком кинопередвижки, и он доверил ему перематывать киноленты с одной бобины на другую, чтобы каждая бобина опять начиналась с начала части, а не с конца. В общем-то ответственное поручение, ведь перематывать бобины приходилось вручную и не одну.

После сеансов, когда он пришел в корпус, мы, за виду ему и сгорая от нетерпения, спросили: «Расскажи, про что фильм? О чём?»

Он подумал и важно, с глубокомысленным видом, сказал: «Фильм начинается: Тили. Тили. А кончается: Бом! Бом!»

Чем вызвал у нас неудержимый смех, мы-то ожидали услышать от него совсем другое.

Потом, часто (в шутку) мы просили друг друга рассказать фильм про Чапаева, и спрашиваемый отвечал: «Начинается: Тили. Тили. А кончается: Бом! Бом!»

И снова, как прежде, не могли удержаться от смеха.

* * *

Все лето нас не стригли, и мы основательно обзавелись прическами. И хорошо, комары меньше кусают, и мошкара не так грызет, да и четвертый класс – это вам не первоклашки какие-нибудь, следующей весной первые экзамены.

Но за несколько дней до школы воспитательница принесла стрижущую машинку, простыню, поставила табуретку на середину комнаты.

– Кто первый, ребята?

– Ага, кто первый. Вон девчонок так не стригете, а только подстригаете, а нас так сразу стричь. Мы что, хуже их?

– Не хуже, но они девочки, и они уже не маленькие.

– А мы маленькие? Мы тоже в четвертый класс пойдем.

– И все-таки они девочки, а это совсем другое. А кто не будет стричься, я позову Виктора Александровича.

– Виктора Александровича! Как что, так Виктора Александровича.

И мы сдаемся: «Ладно, стригите... Под Котовского».

Как раз совсем недавно нас водили на фильм про него: хороший фильм, военный, всем понравился.

Занимаем очередь, ведь самому последнему будет всех хуже: и машинка затупится, и воспитательница устанет, будет больше волосы дергать, чем стричь.

Так, может быть, в первый раз мы поняли, что мы и девчонки, – это как бы не совсем одно и то же.

* * *

Самыми ожидаемыми праздниками в наше время были Новый год и выборы. Новый год проходил шумно и весело, но... в каждой отдельной семье, в каждом отдельном доме.

Зато выборы! К ним готовились всенародно и основательно. Помню большие алые плакаты: «Все на выборы!» Задолго вывешивались объявления: «До выборов столько-то дней», назавтра: «До выборов столько-то дней». Потом: «До выборов осталось столько-то дней». И так до последнего дня.

Агитпункт и избирательный участок кипели и бурлили. В это время в нашей столовой под присмотром поварихи тети Насти в большом деревянном бочонке заводили бражку. Ко дню выборов бражка неизменно поспевала. Ее процеживали и относили в школу, где находились агитпункт и избирательный участок, ставили возле парадного входа, открывавшегося только по праздникам и знаменательным датам. В день самих выборов, утром, рано-ранешенько, к школе начинали подтягиваться избиратели – жители самой Усть-Чижапки, а также Кри-вощенки и соседней Березовки.

Был месяц март. Погода стояла изумительная. Было тепло. Падал легкий волнующий снежок... Каждый входящий избиратель мог сделать шаг-другой вправо, взять кружку и зачерпнуть из бочонка, что привнесшие на избирательный участок и делали «за единство блока коммунистов и беспартийных».

Бочонок, казалось, был неисчерпаем, и большинство (по понятной причине) не расходились.

Вскоре школьный двор наполнился и ребятней, детдомовскими и поселковыми. Кое-кто из старших ребят успел даже пивнуть бражонки и теперь ходил между нами, куражась и задираясь понарошку. Возле школьного двора стояли две упряжки, колхозная и наша, детдомовская, и катала всех желающих. Кругом стоял шум, смех, визг, играла гармошка.

Часам к двенадцати все избиратели проголосовали, и члены избирательной комиссии – директор детского дома Сухушин Виктор Александрович и председатель Усть-Чижапского колхоза Сенцов Семен Григорьевич – вышли во двор «подышать свежим воздухом».

К этому времени все, кто хотел покататься, покатались, и конюхи дали лошадям отдохнуть. Лошади стояли во дворе и пощипывали сено, каждая из своей охапки, и как бы в знак благодарности кивали головами, так, что на их сбруях позякивали металлические украшения, а поддужные колокольчики придавали этому легкую законченность мелодии.

Колхозный жеребец Ураган был выездным, крупная упитанная лошадь гнедой масти. Когда он бежал, то в его боку екало, говорили, что это екает селезенка. Наш меринок Марш был поскромней, но своей статью мало чем уступал Урагану. Зато наши сбруя и кошевка были красивей и нарядней колхозных, особенно кошевка, обитая сзади зеленым бархатом, ко-

торый, когда по нему проведешь рукой, аж переливался.

— А что, Григорич, не прокатиться ли нам? — сказал Виктор Александрович, толкая в бок председателя колхоза. — До Березовки и обратно?

— Давай, — задорно ответил председатель.

Они ударили по рукам.

Упряжки вывели на улицу и поставили рядом. Каждый занял свою.

— Анемподист! — позвал Виктор Александрович мужа нашей воспитательницы Евгении Михайловны. — Махни-ка нам.

Анемподист (по отчеству его никто не называл, по-видимому, из-за его странного и длинного имени) подошел к кошевкам, снял шапку и высоко поднял ее над своей обширной и выразительной лысииной. (По вине этой лысины ему среди нас, детдомовцев, было прозвище как Лысый Пантист.) Плотный, небольшого роста. Мы боялись его пуще всех и старались избегать встреч с ним.

— Раз! Два! Три! — прокричал он и махнул шапкой.

Кони рванули с места и вскоре свернули налево, на основную улицу, ведущую к Березовке. Колхозный Ураган сразу же захватил дорогу, и его обойти было уже невозможно, так как ширина дороги была всего в одни сани.

Мы остались ждать.

Прошло какое-то время, и мы в нетерпении начали выбегать на дорогу и смотреть, не едут ли?

И вот они показались. Впереди по-прежнему шел Ураган, за ним, не отставая, Марш. Свернули на улицу, ведущую к школе, впереди оставался только один поворот — и ворота школы.

Мы стали кричать, прыгать и махать руками, подбадривая Виктора Александровича и нашего Марша.

И Виктор Александрович решил на последнем повороте обойти колхозную упряжку.

Марш почувствовал, что от него хотят, и, напрягаясь, рванул по сугробу. И Ураган, и Марш влетели в ворота школы, что называется, ноздря в ноздрю и остановились — застяли кошевки.

Конюхи подбежали к своим лошадям, успокаивая их. Виктор Александрович и председатель колхоза вылезли из кошевок, потрогали столбы ворот, осмотрели кошевки, вроде бы все цело, и стали решать: кто же был первым? Ни тот, ни другой не признавали своего поражения, тем более председатель колхоза, ведь его Ураган всю дорогу шел впереди и тут, если бы Виктор Александрович не срезал угол. Но и наш Виктор Александрович был неуступчив. В своих темно-синих диагональных, подшитых кожей, кавалерийских галифе и офицерских хромовых сапогах, страстный охотник — нет, проигрывать — это не его дело.

— Ладно! — наконец, он не выдержал. — Давай бороться.

И они стали бороться. Подвижный, шустрый и верткий Виктор Александрович (даже никто не за-

метил) схватил председателя колхоза за рукав и через подножку повалил того на снег.

Мы победоносно закричали, а деревенские зашумели недовольно:

— Подножка не по правилам, так не договаривались.

Решили перебороться.

Взялись за пояса и стали ходить один вокруг другого, раскачиваясь. Не помню, во что был одет председатель колхоза, но обут он был в белые бурки, единственные во всей Чижапке.

Он был покрупней и помоложе Виктора Александровича, и чувствовалось, что на этот раз Виктору Александровичу его не одолеть. И правда. На каком-то бугорке он поскользнулся, и председатель колхоза навалился на него всем телом, и они рухнули на снег. Деревенские закричали пуще прежнего, мы замолчали. Когда они поднялись, было видно, какая досада обуревала Виктора Александровича.

— Эх, — сказал он в сердцах, — не берет собака волка. И с силой ударил шапку о землю.

Потом они отряхнулись и пошли в школу, ведь там, в бочонке, по всей видимости, еще кое-что оставалось.

* * *

Утром, во время завтрака, в столовую зашел Виктор Александрович. Он поздоровался с нами и сказал:

— Ребята, сегодня у вас занятий в школе не будет.

— Ура-а-а! — закричали мы.

— Надо будет, — он поднял руку, успокаивая нас, — надо будет натоптать площадку для самолета. Он прилетит к полудню за больным. Успеем?

— Успеем!

— Сделаем!

И в столовой поднялся шум.

Тогда Евгения Михайловна, наша воспитательница, сказала:

— Дети, вы забыли, что там написано, — и показала на плакат, висевший над окном.

— Когда... — начала она.

— Я ем, то глух и нем, — подхватили мы дружно.

— Так. А на том? — она показала на плакат над противоположным окном.

— Когда я кушаю, то никого не слушаю, — прочитали мы давно знакомое изречение.

После завтрака мы спустились возле нашего корпуса под берег и стали утаптывать площадку. Сам Виктор Александрович отметил нам длину и ширину. День был морозный и солнечный. Снег, сухой и сыпучий, утаптыванию поддавался плохо. Часто приходилось ложиться на спину и вытряхивать из валенок.

И все-таки мало-помалу площадку мы утоптали, наметили еловыми лапками, срубленными в больничном саду.

Когда уставшие и запарившиеся, мы собрались в кружок перевести дух, из-за острова буквально вы-

прыгнул маленький самолетик.

Верхние крылья его были побольше нижних, между ними растяжки. Самолетик летел очень низко. Под его крыльями были две широкие лыжины, а сзади одна, совсем маленькая.

Он сделал полукруг и зашел на посадку со стороны школы. Прокатился возле нашего корпуса и подрулил к больнице, где ему уже махали. Мы побежали за ним, жмурясь от поднимаемой снежной пыли.

Как только за больным закрыли дверцу, самолетик стал разворачиваться и, развернувшись, взлетел в сторону острова, то есть Каргаска.

Зимние дни коротки. До обеда светает, после обеда темнеет. Самолетик это, наверное, был ПО-2.

Точно такой же самолетик к нам прилетел еще раз, но уже летом. Он сделал два круга над Кривошенкой и там сбросил на маленьком парашютике вымпел для нашего лесника.

Когда самолетик делал круги, мы бежали туда и кричали:

*Эроплан. Эроплан.
Посади меня в карман.
А в кармане пусто –
Выросла капуста.*

... Как живы во мне и сейчас эти картины.

* * *

Слышу как сквозь сон: «Вот умер, – и называют мое имя и фамилию, – он был хороший мальчик. Очень жаль, что он умер», – сказанное каким-то не-земным металлическим голосом.

На словах: «Вот умер» я как бы проснулся и открыл глаза в удивлении: « Кто умер?»

А когда услышал свое имя, я подумал: «Как же так, я же вот он – живой, все вижу, все слышу, а говорят, что умер».

И первое, на что обратил внимание, – это то, что нахожусь внутри огромной зеленовато-голубой сферы, заполненной легким фосфоресцирующим светом. Сфера эта постепенно сужалась и переходила в длинное-длинное, почти бесконечное горлышко-туннель. В конце туннеля было яркое желто-красное пятно с крупными бордовыми мазками.

Справа, может, в метрах двух, двух с половиной, я увидел себя (свое тело), лежащее на двух усеченных кубах, поставленных один на другой.

Первый (нижний) куб был усечен на одну треть и покрыт белой матерью, на нем стоял второй, поменьше, и усеченный на две трети и тоже покрыт белой матерью.

А уж на нем, посередине, лежал я (мое тело), покрытый по грудь, так что я сразу узнал себя, но не очень обеспокоился, ведь я-то был живой.

Сначала внимание мое привлекли трое, стоящие слева у ног в метрах двух-двух с половиной не тела,

лежащего на кубах, а, наверное, души.

Средний был очень высок и худощав, двое других стояли у него по бокам. Они ему едва доставали до пояса. Одеты они были в белые одежды с капюшонами, полностью закрывавшими их лица. Одежды просторные, подпоясанные тесьмой или веревочкой. Рукава широкие. Руки скрещены. Головы наклонены.

У меня было желание заглянуть под капюшоны, увидеть их лица. Нет, ничего увидеть я не смог. Не смог увидеть и во что они были обуты, так как одежды полностью закрывали их ноги.

За все время они даже не пошевелились.

Потом внимание мое перешло на тех, кто стоял у ног (уже тела), справа, также в метрах двух-двух с половиной. Первыми стояли детдомовские ребята, они плакали.

Я им крикнул не очень громко и даже весело: «Ребята, не плачьте, ведь я же не умер, я живой». Голоса моего, как мне показалось, не было слышно, но я на это не обратил внимания.

В некотором отдалении от них стояла группа взрослых, мне не знакомых. Один (потом я увидел в церкви) был удивительно похож на Николая Чудотворца, но почему-то в гражданской одежде.

Из всей группы выделялась молодая особа. Она была одета в строгие одежды, в каких изображают богородиц на иконах.

Очень обаятельная.

Я подумал, что это моя мама. Вот она отходит от своей группы и идет, но не ко мне, а к моему телу, лежащему на кубах.

Я кричу: «Мама! Мама! Я здесь. Вот он я».

Но чувствую, что голоса-то нет, и меня она не слышит.

Мне стало так обидно, что я горько-горько запла-
кал необыкновенно крупными слезами (я еще удивил-
ся, что слезы могут быть такими). Но и они, как и
голос, были неощутимы, невещественны.

Меня охватил ужас: «Вот меня похоронят, а я-то
живой».

И тут я как бы проснулся.

Надо мной, прямо глаза в глаза, склонился доктор.
Сзади него стояла няничка. Я лежал возле стены. Мой
взгляд остановился на окне. Окно было чистое, без
 занавесок. За окном стояла полная, большая, не-
обыкновенно ясная луна. Все ее «моря» были четко
обозначены. Небо было облито лунным сиянием так,
что звезд на нем не было заметно.

Я закрыл глаза и уснул.

На следующее утро я был совершенно здоров,
лишь ощущалась во всем теле легкая слабость.

Странно: Однажды много лет спустя, когда у нас
все мало-помалу образовалось, при упоминании о
детском доме мама сказала: «Мне казалось, что ты
умер».

Вот тут и подумай.

А однажды, когда я сидел за столом и делал уроки (письменный стол был у нас и обеденным столом, и для глажки белья, и для кройки и перекройки какой-нибудь одежонки; еще в нем хранились продукты и ставилась посуда), мама подошла ко мне, положила руку на мою голову справа возле макушки и спросила: «А это что у тебя?»

После, через много-много лет на областном семинаре молодых литераторов в Тюмени меня так двинут чем-то в это место, что почти напрочь снесут скальп с ладонь величиной, и удар будет такой силы, что я приду в себя только лишь в больнице.

Так что же это?

* * *

Картошку для печенок мы доставали, когда носили ее из погреба на кухню. Для этого карманы штанов прорезали, а в концы гач (штанин) вставляли резинки. Положишь картошину в карман, она падает вниз, и не так заметно, что там что-то есть. Такое же проделывалось и с пальто.

Зимой нас чаще кормили кашами, а картошку расходовали с расчетом, чтобы хватило до новой. Старшие ребята придумали: в торец длинной палки вбивали гвоздь, конец гвоздя затачивали и делали жало, как у рыболовного крючка. Они опускали эту снасть в отдушину погреба, втыкали в картошину и доставали. В это время кто-то из ребят стоял «на стреме», чтобы ни завхоз, ни воспитатели, ни сам

директор не заметили. Достанут с десяток, наденут на сизику из проволоки, зайдут на крышу столовой (столовая стояла в низинке, сама была низкая, и поэтому ее заносило снегом по самую крышу). Там опустят в трубу ... и только проверяй, чтобы не сгорела. Нам, младшей группе, это не дозволялось. Мы свои картошкины пекли в спальной комнате, в печке, после того, как она прогорит, обычно перед отбоем. Казалось, что после печеной картошки и спится крепче.

* * *

Здравствуй, Коля!

Это хорошо, что ты собрался написать о нашем детском доме, об Усть-Чижапке. Молодец. Давай. А я попробую, по мере сил, что тебе напишу.

По вечерам, когда ложусь спать, многое вспоминается, а днем все улетучивается.

Вот ты спрашиваешь про коня Марша. Это был из всех детдомовских лошадей самый любимый конь Сухушина Виктора Александровича – нашего директора, да и мы все его любили.

Хотя он был, если помнишь, мерином, но статью своей он ничуть не уступал колхозному Урагану – жеребцу.

Зимой директор часто ездил на нем в Каргасок, и не раз они проваливались в полыни, и всегда Марш выручал Сухушина из беды.

Помню, один раз я сам принимал участие в спасении Марша от воспаления легких после очередного «купания».

Мы завели его каким-то образом в тесную «конюховку» или «хомутовку» (там хранилась вся упряжь), натопили печку, накрыли Марша попоной и другим тряпьем. Спасли.

Замечательное у Марша было качество: когда на нем перевозили грузы, то каким бы тяжелым груз ни был, если дорога шла в гору, Марш обязательно переходил на галоп без всякого понукания, и только преодолев подъем, переходил на шаг.

Еще был в детдомовском хозяйстве Голубок – тоже всеми любимый «Конек-Горбунок». Он на самом деле соответствовал кличкам и «Голубок» и «Горбунок». Если бы нам, пацанам, доверили присвоить ему кличку, мы бы обязательно назвали его Горбунком.

Мы все тогда ходили под впечатлением просмотренного мультфильма «Конек – Горбунок».

Ты же помнишь, Коля, как бурно мы обсуждали все просмотренные фильмы. Лучшими из них, по моему, были «Конек-Горбунок», «Тарзан» и «Тимур и его команда».

Так вот, мы-то жеребенка и назвали Горбунком, но Виктор Александрович и дядя Миша Прусс убедили нас, что не гоже красивую лошадку называть Горбунком, и в подтверждение своих слов, указали на одну из колхозных лошадей, действительно горбатую и

тощую. Ее даже невозможно было запрячь ни в сани, ни в телегу.

А Голубком назвали потому, что жеребенком он был действительно голубой масти.

Я-то знал и ждал его. Да! Да! Я помню, как по слуху выборов в Усть-Чижапку съехались со всех ближайших деревень избиратели, в том числе и из Березовки приехал какой-то начальник верхом на огромном красивом жеребце. Масти он был необычной. Называли его чалым. Но сейчас я назвал бы его меланжевым. Цвет меланж в ткацко-прядильно-вязальном деле – это когда нити разных расцветок сплетают в одну и вяжут или ткут полотно. Оно получается меланжевым.

Я сам поехал на этом жеребце на водопой и показал его дяде Мише. А дядя Миша как человек деловой решил воспользоваться случаем. «Давай-ка, – говорит, – езжай на нем в конюшню, и спарим его с нашей Воронушкой, отличное получится потомство».

Я приехал, завел чалого в загон, дядя Миша вывел Воронушку. Тут подробности я опущу, но скажу, что чалый при виде Воронушки сразу же возбудился, аж губу закатал, а вот Воронушке чалый что-то не понравился. И тогда этот чалый подошел к нашей Воронушке спереди, развернулся задом под прямым углом к ее морде, да ка-а-ак даст ей копытами в челюсть, аж хруст послышался. А копыта у него были, как миски металлические, из которых мы ели.

Потом дядя Миша буквально закинул меня на Воронушку и со словами: «Гони ее и, главное, не давай остановиться!», согрел ее палкой. Накатавшись на Воронушке, я пересел на чалого и отогнал его опять к школе.

Ну, ладно, на сегодня я прерываю свое повествование, но чувствую, что увлекся. При первой же возможности продолжу.

Ну, вот, выдалась минутка, продолжаю.

После выборов мы с нетерпением стали ждать результата. Уж больно жеребец был хороший.

Через положенный срок (а, может, и неположенный) помню, что зимой Воронушка ожеребилась. Жеребенок был красивый, но очень слабый. Долго он не мог встать на ноги. Мы, пацаны, человек пять-шесть с первого же дня взяли над ним шефство. Подкармливали его хлебом, сахаром, чесали, помогали встать и т. д.

Рос он медленно и почти не поправлялся. Наверно, удар чалого сказался в итоге и на жеребенке.

Помню, что мы с нетерпением ждали весны, первой травки.

Собственно Виктор Александрович уже дал команду усыпить Голубка, но мы упросили оставить его до весны.

И вот, когда появилась первая травка, мы его вынесли на попоне на лужайку. Он полежал, полежал, отогрелся на солнышке и сделал попытку встать на ноги. Мы бросились ему помогать. И первое, что он

сделал, когда встал, так это – заржал, да так заливисто и радостно, что и нам всем стало радостно, как будто праздник наступил.

С этого дня он пошел на поправку. Он щипал траву, а мы буквально подпирали его под бока. Каждый из нас считал своим долгом угостить его своей птиушкой (пайкой) хлеба, а то и сахаром.

В конце-концов вырос наш Голубок в хорошего жеребчика. Весь он был аккуратнейший такой, коротенький в длину, но высокий, со стройными ногами и очень резвый и игривый.

Уж как хотелось нам всем на нем верхом покататься, но мы долго себе этого не позволяли, берегли его.

Ну, пока, Коля, а то расписался. Да и почта не примет по весу. Еще что вспомню, непременно напишу. А вспомнить есть что. Интересно будет и почитать.

Ну, всего.

Альберт.

* * *

Весной охотники убили медведицу, а медвежонка (девочку) Виктор Александрович, директор детского дома и сам страстный охотник, взял себе, вернее, для нас. Ее поселили под девчачий балкон. Сделали будку, надели ошейник, привязали небольшую веревку, чтобы могла свободно передвигаться. Назвали Машкой.

Машка была большим клубком бурой шерсти с маленькими любопытными глазками, мокрым носом и белым бантиком на груди. Машка всегда готова была поесть и поиграть. И первое время она нас очень занимала. Мы старались с завтрака, обеда и ужина оставить что-нибудь вкусненькое, чтобы потом самим лично, к недоумению наших собак, преподнести ей. Она встанет на задние лапы, передними обнимет руку, подтянет к себе и слизнет кусочек мяса, сахара или конфетку, что принесешь. Наверное, она была еще сосунком. Подашь ей палец – сосет палец. Подашь руку – руку сосет. Подставишь ей нос или ухо, оближет и нос, и ухо, но очень щекотно, вдобавок еще и голову обмусолит. Очень она любила бороться. Обнимается с кем и вот топчется на месте, раскачиваясь. Наши собаки, прежние любимицы, даже и с нами к ней близко не подходили, при этом шерсть на их загривках вставала дыбом, и сами они недобро косились на Машку.

С наступлением лета мы все больше стали пропадать на Чворе или Васюгане, ходить в лес, а Машка оставалась одна. Девчонки к ней не подходили – боялись.

Лишь тетя Настя, повариха, заботилась о Машке, кормила ее, когда мы забывали о ней.

К концу лета Машка сильно подросла, окрепла. У нее выросли зубы и заострились когти, стал вырабатываться характер, медвежий. Если что-то было не по ней, она начинала рычать и злиться. Одному

мальчику, который хотел с ней «поиграть», сильно поцарапала руку. А однажды отвязалась и убежала во двор к тете Насте – своей кормилице, переполошив там всю ее живность. Машку поймали, привели и посадили уже на цепь, к ее страшному неудовольствию.

Надвигалась осень, а там и зима. Стали думать, что делать с Машкой. Убить – жалко. В тайгу отпустить – не выживет. Решили отдать на пароход. Тогда почти на каждом пароходе держали медвежонка – для престижа. И Машку Виктор Александрович отдал на пароход «Чехов», который в начале пятидесятых годов сменил на Васюгане «Тару». Наверно, до конца навигации Машка плавала на «Чехове», забавляя пассажиров, а потом, скорей всего, попала в цирк или зоопарк.

Больше ничего подобного мы не заводили.

* * *

У детского дома была своя столярка – просторный, с высоким потолком сарай с большими и светлыми окнами. На улице перед входом стояли внушительных размеров козлы, на которых длинной двуручной пилой распиливали бревна на плахи. На верху было место дяди Миши Прусса, нашего детдомовского конюха, маленького, толстого и почти круглого, как колобок. Он постоянно держал во рту «козью ножку» из табака, выращенного им самим. (Настоящего горлодера, мы пробовали). А внизу было место Тилька, тоже конюха, только колхозного,

высокого и щуплого, прямой противоположности дяди Миши, и абсолютно некурящего.

Работали они молча, работа такая не из легких, но иногда беззлобно поругивались, если пила начинала «вести» – выясняли, по чьей вине. В столярке, справа от прохода, почти в середине, в земле, находился внушительных размеров чан, сооруженный из досок.

В начале зимы, когда мы зашли в столярку, была договоренность, что все желающие могут себе сами изготовить лыжи, в этом чане три женщины утаптывали капусту, которую наверху секли и сваливали вниз.

С шуткой или с пониманием отнеслись в столярке к этой затее с лыжами, но мне выдали две березовые доски (я подумал, что лыжи будут покрепче).

Все мы делали по науке, как нам подсказывали. И отверстия для крепления сделали, и загнули носки, где перед, и провели на них направляющие желобки, и пропарили их в горячей воде, а после на распорках поставили на сушку. И когда с радостным настроением мы пришли за нашими лыжами, я был страшно раздосадован, что мои лыжи вышли толстыми, тяжелыми и... кривыми, как пропеллеры.

Все-таки я пробовал на них прокатиться.

Они не катились совсем, даже с горки у моста через кривошеенский ручей.

А ведь когда я их делал, я думал, что мои лыжи будут всем на зависть.

* * *

Зимой зарядку делали в спальной комнате при открытых форточках. После зарядки шли в умывальник, а кто посмелей — поваляться в снегу. Однажды кто-то из ребят, выбежавших на снег, увидел в больничном саду на верхушке кедра глухаря. Забежал в корпус и сказал нам. Мы тоже стали выбегать и смотреть.

Да, большой. Поздоровее любого петуха.

— Ребя, айда, позовем Виктора Александровича.

Когда Виктор Александрович прибежал с «тозовкой», глухарь, не дожидаясь его, благоразумно улетел.

Но... винтовка была принесена, значит, надо пострелять, притом нам как-то было обещано научить нас с ней обращаться.

И после завтрака решили пойти в лес. А самый близкий лес был за могилками, туда-то мы и отправились.

Пришли, встали на обваловку, так повыше.

Через поляну, метрах в пятидесяти, а, может, и больше, на березе сидела одинокая сорока. Она взволнованно стрекотала, недовольная нашим приходом. Когда мы остановились, то и она перестала стрекотать, а принялась поворачиваться к нам то одним, то другим боком и нервно подергивать своим хвостом.

Виктор Александрович зарядил свою «тозовку». Встал поудобней, прицелился.

«Ну, все, сорока, отстрекотала», — подумали мы.

Выстрел.

Сорока, как нам показалось, на это даже носом, то есть клювом, не повела.

Промазал.

Виктор Александрович перезарядил, перевел планку прицела. Щелкнул боек. Послышался глухой щелчок о дерево, видать, пулька попала в ветку, на которой сидела сорока. От неожиданности та подпрыгнула, но... решив, что ничего страшного не произошло, снова опустилась на прежнее место.

– А теперь, ребята, кто у нас самый меткий?

И пока мы решались, кому стрелять, пока прилагались к прикладу и пока целились, сорока, почувствовав неладное, решила судьбу не испытывать.

Стреляли вдогонку.

– Ладно, пусть летит, – сказал Виктор Александрович даже с некоторой радостью, что сорока осталась жива, – а вон видите веточку на той, большой ветке, на которой сорока сидела, самую крайнюю.

Он приложил винтовку к плечу, прицелился, замер, что даже и мы все перестали разговаривать и затяли дыхание.

Выстрел.

Ветка упала.

– Да, Виктор Александрович, это – У! Он и белке в глаз попадет. А сорока что, какая добыча!

Патрончики мы взяли себе, пахнут порохом, маленькие, но для чего-нибудь пригодятся.

День был ясный, с легким морозцем. Крупинки снега, как маленькие хрустальные кристаллики, переливались на солнце всеми цветами.

Звонко, не по-зимнему радостно, тенькали синицы. Было преддверие весны.

* * *

После окончания третьего класса нашу группу Виктор Александрович и Евгения Михайловна повели в магазин покупать нам новые штаны. Я учился на четверки, и мне как ударнику были обещаны шерстяные или другие, получше обычных из х/б.

Я был самым маленьким, и на меня никак не находились, были и длинные, и широкие, и в поясе могло поместиться несколько кулаков, а чтобы хоть маломало подходили – никак.

Когда все имеющиеся в магазине штаны были перemerяны, мне сказали, что надо взять из тех, какие наиболее подходят, и что я один задерживаю всех.

Я не выдержал и заплакал от обиды, к тому же стали говорить, что на следующее лето еще одну группу отправят к родственникам и, возможно, там буду и я, а как хотелось появиться у своих в новых штанах. Все-таки мои слезы возымели действие, и мне купили штаны, какие мне больше понравились и по цвету, и по шитью.

После покупки штанов и в честь нашего успешного окончания учебного года (без второгодников) Виктор Александрович купил нам еще и большой

ком подушечек – наших самых любимых. Штаны свои я аккуратно разложил на доски под матрасом и каждое утро и каждый вечер проверял, чтобы случайно не образовалось ненужных складок.

И все-таки через год, когда мне сказали, что я еду в Томск, эти штаны у меня были изъяты, как я ни просил. Пришлось ехать в старых.

Ну, ладно, все-таки домой, и они – штаны – достанутся кому-то еще совсем новыми, ведь надевал-то я их всего один раз и то на примерке.

* * *

В спальной комнате моим соседом по койке был Олег, наши с ним кровати стояли рядом. А через тумбочку была кровать Бори Таймера, тихого и скромного мальчика. Друзей у него не было. Он держался как-то в сторонке, один. Но всегда был занят. Вечно строгал, точил, постукивал, что-то к чему-то прилаживал.

Юрки из-под ниток и резинки были для него самыми необходимыми предметами, каждая найденная им железка находила у него применение. Что-то у него вертелось, крутилось, трещало, даже катилось. Зимой он задумал сделать пароход, чтобы плыл при помощи пара, а не как мы делали свои кораблики: щепочка, палочка-мачта да кусочек бересты вместо паруса.

И, к нашему удивлению, построил.

Весной, когда на Чворе появились первые забереги, мы с Борькой во главе пошли запускать его пароход.

На досточеке с полуметр длиной Борькой были установлены и закреплены баночка для топки (в ней разводился костерок), над ней баночка с крышкой (вместо котла), трубка для подвода пара к основной шестерне, сделанной им из юрка, к которому Борька приделал лопатки. На валу этого юрка, по бокам досточки, находились также юрки с лопатками, которые касались воды.

И когда Борька развел костерок, пошел пар и завертелись юрки, и пароход поплыл, мы такое «ура!» закричали, что оно было слышно не только по всей Чижапке, но и на Кривошеенке тоже.

Борька стал самым уважаемым, самым почитаемым среди всех нас. Мы всячески старались ему угодить, помочь. Каждый хотел подержать пароход, запустить его.

Несколько дней, как только выпадало свободное время, мы бежали на Чвор запускать Борькин пароход.

Однажды он далеко отплыл, и когда его доставали, сильно повредили. Борька не обиделся, по крайней мере, не показал вида, но и восстанавливать не стал.

Разгоралась весна.

Появилась первая травка, и мы стали играть в свои обычные весенние игры: «чижика», «котел», лапту.

Борька Таймер – изобретатель, детдомовский Кулибин, на многое ты был способен.

Что совершил?



Привезли картошку, целый неводник, с Успенки – нашего подсобного хозяйства.

Пристиали возле мостика, так ближе к детдому, к погребу.

Разгружаем.

Хорошую – в ведра, в мешки и на телегу. Плохую – за борт.

Вместе с плохой нет-нет и хорошую опустим, потом достанем, испечем. Ведь, кажется, попроси с пол-ведерка, неужели нам не дали бы, ан нет, надо вот так, чтобы никакое начальство ни о чем не догадывалось.

Неводник разгрузили. Картошку засыпали в погреб по закромам.

Когда неводник опять ушел на Успенку, мы стали нырять и доставать.

Было начало лета. Вода была прохладной. Но достали вполне, чтобы, сходить испечь.

Тогда нас и кормили получше, и на кухне после обеда стало кое-что оставаться, а кто хотел добавки, почти всегда мог ее получить.

Но костерок, ручей, лесочек и печеная картошка – это совсем не то, что столовая.

Печь пошли за могилки, там на бережку нами было облюбовано местечко, лес рядом, вода рядом и недалеко от деревни.

Когда картошку испекли, поели, покурили и стали костер тушить, я взял баночку и пошел за водой. Наступил на одну кочку, на другую и, видать, потрево-

жил осиное гнездо, и осы меня так нажалили, что потом я кое-как доплелся до спальной комнаты. Меня зноило.

Ребята навалили на меня одеял, и я провалился как в яму.

Проснулся на следующий день, почувствовав, что меня кто-то зовет. Спальная комната вся озарена солнечным светом, в ней никого нет.

— Коля! Коля! — донеслось с улицы.

Я подошел к окну, растворил его и посмотрел вниз.

Внизу, под окном, стояла Нина Решетко, наша дет-домовская девочка.

Мы какое-то время смотрим друг на друга, не зная о чем говорить, ведь если ребята узнают, проходу не дадут, будут дразнить.

— Ты вчера сильно болел? — наконец спросил она.

— Не знаю, — ответил я.

— А девчонки говорили, что доктор приходил.

— Не помню. А где все? — спросил я, чтобы не говорить об этом.

— Ушли за колбой, — ответила она.

— Прямо все?

— Кто хотел.

— И девчонки?

— И девчонки тоже.

— А ты?

— Да так, — ответила она. Сорвала одуванчик, взяла кусочек земли, завернула в тряпочку и сказала: «Лови!»

С первого раза я не поймал и невысоко она бросила.

Но со второго раза постарался, наклонился пониже – и одуванчик у меня в руках.

Господи! Я не знаю, что такое полное счастье, но что такое счастливое мгновение я знаю наверняка, ибо я его испытал.

К середине лета отправили первую группу детдомовцев, у кого отыскались родные или близкие.

С этой группой уехала и Нина Решетко.

Как было горько. Как я плакал, спрятавшись в больничном саду.

Мне и теперь кажется, что тогда из меня вынули стержень жизни.

Эта маленькая девочка, как светлый лучик, сверкнул в моей жизни, осветил мою душу и тут же погас.

Однажды, еще до приезда в Чижапку с другом, я был там со своим братом Ильей. И мне сказали, что приезжала одна женщина, ваша, детдомовская, и так плакала, так плакала, а потом, вечером, с обратным рейсом она уехала.

Я и сейчас уверен, что это была ты.

* * *

Здравствуй, Коля!

Завалил ты меня письмами, аж два подряд. Ну, спасибо.

Только вот отвечать на них время нужно, а летом, как обычно, всегда его не хватает. Но попытаюсь.

Первый. Про керосиновые лампы. Да, я помню, что они назывались, как винтовки – линейными, но по каким параметрам, не знаю.

Ведь линия – это мера длины. Речь скорее шла о размере стекла, а не лампы.

Второй. О перьях. Кроме перечисленных тобой помню еще «88», «Пионер» и «Щучка».

Третий. Картины. Картины были огромные, хорошо нарисованные, в красивых золоченных рамках. Наверное, это были подлинники. Но как они там оказались? Помню «Покорение Ермаком Сибири», «Утро в сосновом лесу», «Три Богатыря», «Баскаки собирают дань» и, по-моему, «Боярыня Морозова».

И висели они, скорей всего, в разных комнатах. Не могли же они находиться в одной какой-то комнате, даже в классной или пионерской, или как там её называли? Помню, что на лестничной площадке в большом корпусе стоял огромный самовар с питьевой водой, а за ним на стене висело старинное зеркало.

Четвертый. О поленницах. Да, я также думаю, что заготавливали их для пароходов. Они больше всех сжигали дров. Я даже помню, что мы не только складывали и заготавливали дрова, но и валили деревья. Норму нам задавали в кубических метрах, сколько именно, точно сказать не могу.

Дело было зимой. Мы (наша группа) во главе с воспитательницей пошли на третью корчёвку. Там нас встретил мужик (нормировщик). Он выдал нам пилы и топоры. Нас разделили по парам. Сейчас я уже не

помню с кем я оказался, но помню, что каждой паре он показывал, какую лесину (берёзу) валить и как её запиливать, чтобы она упала в нужную сторону.

Снег был глубокий, и каждое дерево приходилось обтаптывать, чтобы не оставлять высоких пеньков. Когда мы допиливали до самой середины, сначала с одной стороны, а потом – с другой, мы его подзывали или он сам подходил и длинной палкой упирался в ствол, и берёза падала в заданном направлении. А запомнил я это потому, что на очередной лесине палка у него соскользнула и берёза осталась стоять. Зато, когда он снова её толкнул, то она упала не как обычно – вперёд, а как-то подпрыгнула вверх, назад и вправо, где я как раз и стоял. Её комель прошёл совсем рядом со мной, почти перед глазами. Еще бы чуть-чуть и меня точно съездило бы по сопатке, то есть по лицу (помнишь наше детдомовское – как дам по сопатке!?)

В памяти даже запечатлелись жёлтые годовые кольца на белом срезе. Показал он и как правильно рубить сучья, и где стоять, чтобы топором не угодить по ногам. Оказалось, что сучья рубить надо по ходу их роста и стоять не на той стороне, на которой рубишь, а с противоположной.

Помню, что пробовали хитрить – поленницы делали редкими, тогда нормировщик подходил и толкал поленницу ногой, разваливал её, и нам приходилось опять начинать с нижнего ряда. Потом, плывя на пароходе, я видел на каждой пристани гигантские бур-

ты берёзовых поленьев. Часто и мы – желающие пассажиры – помогали матросам грузить их на пароход.

Пятый. Коллективные читки. Помню. Очень даже помню. Особенно мы любили слушать про партизан. Я хорошо помню эпизод из книги, который мы потом пересказывали друг другу. Это как партизаны, чтобы отвлечь внимание немцев, намазали поросенку под хвостом скипидаром и отпустили. Поросенок бегает, визжит. Немцы носятся за ним, пытаются поймать, а партизаны тем временем проникли в нужный объект. И книга эта, по-моему, называлась «Партизанские тропы».

Шестой. На сегодня последнее. Как мы продавали рыбу. Я и теперь еще помню подробности, как мы рядились с этой теткой – покупательницей. У нее были весы динамометрические. Там пружина была совсем ржавая. Она подвесила на крючок нашу сизку и говорит: «Вот смотрите, всего ... кг». Мы говорим ей: «Да ваши весы не работают». Она тряхнет ими – вес добавится. Чебаки от тряски срываются и падают на землю, а ее кот, мордастый такой, тут как тут, мы и наклониться за ними не успеваем, как он подхватывает их.

Кажется, Коля, на все твои вопросы я ответил.

Я тебе, наверное, еще не рассказывал, как мы хотели живьем поймать лося.

Дело было весной.

По традиции мы каждую весну привозили из леса саженцы: рябины, черемухи, смородины и т.д. и вы-

саживали их на территории детского дома. В этот раз мы поплыли через Васюган в устье реки Чижапки на неводнике и увидели двух лосей, плывущих нам навстречу. С нами был Виктор Александрович – наш директор. Не знаю, чем мы руководствовались, но факт тот, что мы стали приставать к этим лосям. Нас, пацанов, можно понять, но ... директор детдома. Видимо, сыграл охотничий азарт.

Мы плавали вокруг лосей, изматывая их, махали веслами, не давая им подплыть к берегу. Они отфыркивались и мотали своими рогастыми головами.

Мы, должно быть, так громко кричали, что нас услышали на базе, потому что оттуда вскоре к нам устремилась моторная лодка.

С моторки мужики стали набрасывать на лосей веревочную петлю. У них это не получалось. В конце концов веревка намоталась на винт мотора и он заглох. Лосям удалось доплыть до берега, но из вязкой глины сил выбраться у них уже не было, и они стояли, утонув в ней по брюхо, тяжело дыша.

Но как только моторка снова затарахтела, они ка-ак выскочили и галопом через кусты ускакали в лес. До сих пор не могу понять, зачем мы с ними связывались?

А помнишь, Коля, что у нас каждое лето живой уголок был переполнен всякой живностью? Были там белки, бурундуки, зайцы, утки, птицы разные. А ведь мы их ловили голыми руками. Однажды даже ласку поймали.

Идем очередной раз с Успенки, Идем, по пути вспугиваем уток, зорим гнезда шершней, и прочее. Вдруг увидели зверька, тоненького, длинного, шустрого. Но от нас трудно уйти... когда нас много. Мы тут же его окружили и стали круг сужать. Зверек спрятался в дупло лежащей колодины. Мы затыкаем у этой колодины все дыры, откуда он может выско- чить, взваливаем ее на плечи и тащим домой. Во дво- ре детского дома кладем колодину на землю, все приготавливаем, чем можно накрыть зверька. Одну дыру освобождаем и ждем. Знающие мужики сказали, что это ласка.

Куда зимой все зверье девалось, не помню.

Таким методом (окружения) мы ловили не только зверушек разных, но также и птиц, к примеру, подле- тышней уток.

Вспоминаю, как приехал из города учитель гео- графии с необычной для тех мест собакой и мото-циклом. Это был первый мотоцикл в деревне.

Еще, по-моему, у этого учителя была домашняя ут- ка, и он ее использовал как подсадную на охоте на диких уток. До тех пор в Чижапке этого никто не де- лал, все пользовались чучелами.

Потом эта утка снесла яйцо без скорлупы, и вся деревня сбежалась посмотреть на этот феномен.

Помню, и тебе рассказывал, как мы зимой сорев- новались, кто в какой спальне жарче натопит печку, и, сходя с ума от жары, состязались, кто дальше всех пробежит по снегу босиком и в нижнем белье.

Случалось, что на пути встречались «бабы» – наши детдомовские девчонки – всегда злые на нас, как и мы на них, и держали нас на морозе в своем (опять же) окружении.

Помнишь, как зимой на уроках стоял сплошной кашель, а в кино из-за наших кашлей невозможно было услышать, что говорят герои фильма.

Не знаю, рассказывал ли я тебе, как мы лечились от простуды по рецепту нашей сердобольной нянечки.

Как-то в спальной комнате, в печке, накалили кирпич, бросили его в таз с водой, наклонились над ним толпой, накрылись одеялом и дышим, орем во всю, хохочем, материмся. А тут, представь, в спальню неожиданно заходит директор. Он одного пнул под зад, тот его отборным матом – куда подальше. Другого – тоже самое. Тогда он срывает с нас одеяло, и мы, вот они, красные, распаренные, представляем перед ним.

Помню, как такая же сердобольная тетка посоветовала нам, чтобы мы не резали сети рыбаков, мазать деготь от мошкеры прямо на лицо. Утром мы это еще терпели, но когда стало припекать солнце, кожа на наших лицах стала, как кирзовая и горела со страшной силой.

Ладно, Коля, заканчиваю, а то опять почта не примет по весу.

Буду в командировке, загляну. А ты приезжай.

6.07.04

Альберт

* * *

Усть-Чижапку и Кривошеенку разделял ручей, а соединял наплавной мост из бревен.

Весной он поднимался, а по мере спада воды опускался и ложился на грунт. Мост был только пешеходным.

Лошади, коровы и свиньи при большой воде переплавлялись вплавь. Были еще овцы, но о них я не помню. Что лошади и коровы плавают, мы знали, а вот что плавают свиньи, узнали так. Пошли мы однажды на третью корчевку, просто побродить по лесу, саранок покопать, а попадутся бурундук или белочка, попробовать их поймать.

Собак наших с нами еще не было, они нас обычно догоняли, когда мы шли дорогой между полями где-то уже за первой корчевкой.

Подходим к мосту, а тут в грязи нежится хрюшка, ну как пройти мимо? Прижали ее к берегу (без всякого злого умысла, конечно), что ей некуда, кроме как в воду.

Попробовала туда, сюда — нет, не пройти. И вот она с отчаянным визгом бросается в воду, да так, что на какое-то время вся исчезает из вида. Мы перетрусили: а вдруг утонет?

Нет. Шумно вынырнула и поплыла, отфыркиваясь. Над водой только пятакоч, глазки, ушки, да хвостик сзади, остальное все скрыто. Но плывет же.

И нам стало даже весело глядеть на плывущую по-росюшку.

Место между Усть-Чижапкой и Кривошеенкой неглубокое, и вода там прогревается до дна, поэтому всякой живности водится во множестве: разнообразные жуки-плавуны, жуки-водомеры, жучки-серебрянки, водяные пауки, мальчики, головастики, личинки комаров и стрекоз, пиявки и всего прочего, неведомого нам.

Купаться здесь мы боялись, вдруг «живой волос» нападет, пройдет насеквоздь, и не почувствуешь.

Мы остановились на мосту недалеко от чижапского берега и стали наблюдать за подводной жизнью, и увидели пиявку небывалых размеров. Поймали ее и решили показать нашей «ботаничке» Лизавете, ну и как бы лишний повод встретиться с ней.

Зашемили добычу прутиками и идем.

А Лизавета (Елизавета) была молодой, не намного старше наших девчонок, наверное, совсем недавно после института или даже техникума.

Была она чистюлей необыкновенной, такая стройная, аккуратная, небольшого ростика, плечи приподняты, руки прижаты к талии, а кисти рук отведены в сторону, и походка – не передать.

Больше в Усть-Чижапке таких не было, она была одна. И даже ее пальто, когда она снимала его и вешала на вешалку, выглядело так же, как и на ней самой: рукава прижаты к талии, а края рукавов отодвинуты в сторону.

И мы, детдомовские мальчишки, как бы в секрете друг от друга были в нее влюблены, ведь она совсем

не походила на наших девчонок, о поселковых я и не говорю.

Подходим к ее дому. Поднимаемся на крылечко. Стучим. Дверь заперта изнутри – значит, дома. Стучим еще раз. Слышим шаги. Дверь открывается, на пороге Лизавета, но какая-то не наша, в халате, тапочках, без прически.

– Здравствуйте, – недружно здороваемся мы, называя ее по имени и отчеству, – вот посмотрите, что мы поймали на ручье. И показываем ей эту пиявку.

Боже, что мы наделали! Наша бедная Лизавета присела и издала такой крик, что удивляюсь, как мы сами не попадали тут же на месте.

Из-за ее спины на крыльце в одних трусах выскакивает лесник, полный решимости разобраться с любым.

Мы мигом приходим в себя и врассыпную...

Вот так, наверно, не только у меня одного, прошло самое-самое первое чувство, похожее на любовь.

* * *

Сегодня Иван Купала.

Утро великолепное. Небо чистое. Ветра нет. Из открытого окна классной комнаты несутся бодрые звуки пианино – играет Соломон.

Мы шеренгами стоим на детдомовской площадке и в сопровождении пианино делаем зарядку.

Под окнами классной комнаты сидит наш пес Индус и подывает, помогая Соломону и радуя нас.

Еще весной на пароходе «Чехов» привезли пианино и пианиста Соломона.

Пианино поставили в классной комнате. А Соломона определили на жительство в небольшую избушку на краю Кривошеенки, отделенную от Чижапки ручьем.

И теперь, когда Соломон не пьяный, а слегка выпивши всегда, он проводит с нами занятия, учит нас нотной грамоте. От тех учений я запомнил только вот это: «До. Ре. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. Си. Ля. Соль. Фа. Ми. Ре. До». Дальше нескольких занятий учеба не пошла, ибо Соломон вскоре совсем спился, а зимой и умер.

Играл он хорошо. Громко. Бил по клавишам со всей силы своими маленькими толстыми волосатыми пальцами. А когда сам еще и напевал, то весь преображался, глаза горели, на губах выступала пена и летела на нас.

Он часто исполнял песню «Сидит рыбак на озере». Там были такие слова:

Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.
Тра-ля-ля-ля.

Почти выкрикивая последние слова, он всех нас обводил таким взглядом, как будто он и есть тот самый рыболов, который вот-вот поймает окуня, а мы тут стоим и мешаем ему.

Жаль. И нотной грамоте он нас не научил, и ни одной песни из его нотной тетради мы так до конца и не выучили.

Вот зарядка закончилась.

На Чвор!

Купаться!

Ура-а-а-а!!!

И мы бежим. Мимо школы, мимо магазина, мимо почты, мимо пекарни, сбегаем к Чвору и – в воду.

Вода у берега кипит.

У девчонок пляж отдельный, свой. Плавать они не умеют, почти все, но у них трусики на трех резинках: на поясе и на ногах.

Они надувают их и плавают как на воздушных шарах, подгребая под себя обеими руками враз, при этом сильно-сильно колотя ногами по воде так, что брызги высоко взлетают над ними, а спереди даже поднимается небольшая волна.

Так и мы, иногда, играясь, нагоняли друг на друга волну, плывя по-девчачьи.

* * *

На второй корчевке, справа, было небольшое поле гороха, обыкновенного, белого, полевого. Оно там было почти каждый год. Мы уходили на третью корчевку, оттуда, уже лесом, возвращались до этого поля. Из завалов высматривали, где могут быть самые спелые стручки, к ним подползали, быстрей-быстрей толкали за пазуху и также ползком возвращались к завалу.

Сами побеги старались не рвать, чтобы другие стручки смогли поспеть и чтобы не оставлять следов,

потому что поля охранял объездчик. Он ездил на коне и видел далеко, но и сам был заметен издали. Однажды нас все-таки поймали, не на поле, а когда мы уже переходили ручей.

Из управления колхоза, стоящего на взгорке напротив моста, спустился колхозник и встал у самого схода.

— Ребята, пойдемте-ка со мной, — сказал он.

Мы хотели уж было повернуть обратно, но с той стороны тоже шли. В управлении было полно народу. Все стали смотреть на нас. Мы столпились у двери.

— Та-а-ак, — сказал директор, — у кого что в карманах, давай на стол. Мы подходили к его столу и выворачивали карманы.

Кроме гороха, были и ножички, выточенные из плоских напильников, с ручками из патронов, манки на бурундуков, кусочки проволок, грузила, нитки, обрывки веревочек, и... мало ли чего, ненужного другим.

— Ну, не знаю, — сказал объездчик, глядя на рассыпанный по столу горох, я совсем недавно там проезжал. Может, им «березовой каши» дать немножко, не досыта, — заключил он после некоторого молчания.

Я подумал, что это, может быть, каша на березовом соке.

— Ладно, — сказал директор, — осматривая нас, — пока не надо.

Потом нас немного пожурили и отпустили и, главное, горох отдали, а все остальное оставили, вроде заместо выкупа. Когда мы шли в детдом, я спросил ребят: а какая это — березовая каша? Они от-

ветили: «А это когда вот сюда березовым прутиком», – и засмеялись.

– Этот бы смог, не зря объездчик.

В детдоме нам ничего не было, может, и не сообщили. А через несколько дней мы почти всем детским домом ходили убирать горох на большом поле, что было сразу за Чижапкой, справа от дороги, ведущей в Березовку.

Горох складывали на телеги и отвозили к колхозным амбарам. Обедали мы прямо в поле. Последнюю телегу гороха отдали нам. Мы ее сгрузили возле столовой и потом еще несколько дней ворошили эту копешку, отыскивая целые стручки.

* * *

Одно время у нас появилось занятие: на Чворе, у самой кромки воды, перебирать ногами и приговаривать:

*Кисель-мисель, дай воды
По колено глубины.
Кисель-мисель, дай воды
По колено глубины.*

Так можно было замиселиться в песок до колен, а иногда и настолько, что самому было уже и не освободиться. И однажды кто-то из ребят наткнулся на револьвер, самый настоящий: дуло, рукоятка, барабан, все как надо, только покрыт он был толстым-толстым слоем ржавчины вперемешку с песком.

Возможно, там его уронили еще во время Гражданской войны и принадлежал он одному из офицеров Белой армии адмирала Колчака, а возможно, и наоборот – большевику, комиссарствующему по Васюгану.

Когда револьвер немножко отчистили и отмыли, нашим восторгам не было предела: теперь заживем. Вот это да! Можно и на медведя пойти, и вообще уйти из детдома – не пропадем.

Старшие его отняли и пригрозили, чтобы никому ни гу-гу. И вскоре снаружи он принял подобающий револьверу вид. Но как прочистить ствол и барабан, чтобы он вращался и можно было посмотреть, сколько в нем патронов? Чем? Может, керосином? А что! У няньки попросили керосина раз да другой. Она заподозрила неладное – зачем ребятам керосин, если летом лампы никогда не зажигали, и так светло? Выследила, сказала директору. И нас разоружили.

* * *

Это было во второй половине лета. Вода в Чворе начала спадать, но еще ручей, вытекающий из заливных озер и впадающий в Чвор неподалеку от того места, где мы обычно купаемся, едва обозначился. В этом же месте летом пристает небольшой дощатый катерок, почти игрушечный, возивший по Васюгану почту.

Мы, детдомовские ребятишки, человек пять-шесть, окоченевшие, только что вылезли из воды, на-

собирали щепочек, развели костерок, сели вокруг него, сидим, дрожим. Броде и солнышко есть, но дует холодный ветер, северный, резкий, и мы никак не можем согреться.

Толя Романенко, пока мы купались, плавя и барахтаясь в воде, как бы караулил наши одежки, сам даже не раздеваясь. Он вообще и плавать не умел, и воды боялся. А тут, в этот день, на него как нашло. Ему захотелось непременно, прямо вот сейчас, пойти к ребятам, что рыбачили в устье ручья на другом его берегу, а у самого и удочки нет, и не рыбак он вовсе. И вот стал просить всех нас по очереди пойти с ним. Все отказались, ведь надо было опять лезть в воду, а мы только-только вылезли из нее, все в пупырышках, как в гусиной коже.

— Тогда пойду один, — сказал он.

— Куда ты? Ты же утонешь, — сказали ему.

— Ну и что, — ответил он, — пойду не вверх, а вниз.

И стал собираться. Все с себя снял. Связал в узелок. Примостил на голове и вошел в воду, придерживая его одной рукой.

Мы стали смотреть за ним в тревожном предчувствии. Сначала он шел правильно, по кромке, по которой и рыбаки прошли, но вот стал забирать левей, левей, а там обрыв. Вот оступился. Ушел под воду. Все, кто был на берегу, вскочили, но не знали, что делать. Как назло в этот день никого из взрослых с нами не было. Когда первое оцепенение прошло, все стали кричать рыбакам у ручья помочь.

Один из рыбачивших мальчиков бросил удочку и поплыл. Поплыл тихо, по-собачьи, опасливо, просто отозвавшись на крики. Толя Романенко всплыл столбиком, как-то странно — макушкой кверху, лицом вниз. Задержался немного и опять ушел под воду, даже не замахав руками, даже не позвав на помощь. Во второй раз он показался всего на полголовы, и тоже макушкой кверху. Стали кричать плывущему:

— Хватай! Хватай! За волосы!

Мальчик успел только шлепнуть ладошкой по воде над головой Толи. На третий раз голова его едва обозначилась над поверхностью воды, и он тотчас ушел вниз. И больше он не вспыпал.

Прибежали взрослые. Кто-то принес багор. Несколько раз попробовали. Нет. Глубоко. Можно поранить. Принесли бредень. Завели.

И вот на травке, возле спуска к Чвору, лежит наш Толя. Позвали врачиху. Она пришла, наверное, сделала все, что полагается. Мы стояли вокруг в ожидании невозможного.

Невозможного не совершилось. Было жалко и больно смотреть на бледное безжизненное тело Толя Романенко, на его недвижный поплавок.

Толю похоронили. И буквально через несколько дней после похорон приехал Толин отец из Мурманска. Толя знал, что к нему едет отец, и так радовался. А мы завидовали ему, ведь он был первым среди всех нас, детдомовцев, кого бы забрали родители.

Умер Толя от разрыва сердца.

* * *

Часто мы спрашивали воспитательницу:

— А с какого я года?

— А где мой папа?

И так почти каждый из ребят.

Однажды она принесла лист бумаги и стала нам зачитывать.

— Такой-то, с сорокового года.

— Отец погиб на фронте.

— Такой-то, с сорокового года.

— Отец погиб на фронте.

И так всей группе.

Тогда мы верили, что все мы с сорокового года рождения, что наши отцы погибли на фронте, иначе мы в детском доме не оказались бы, а наши мамы потерялись в дороге, когда наступали фашисты.

Только по прошествии многих лет я стал думать и уверен, что воспитательница так говорила, чтобы никого из нас не обидеть, чтобы никто не почувствовал себя не таким, как все. Хотя для большинства ребят все было совсем не так.

В основном мы были из Сибири, из ближних мест: томские, новосибирские, из Красноярска и Кузбасса. У большинства отцы и старшие братья были на фронте. А без них, основных кормильцев, семьи голодали, и нас, самых младшеньких, сдавали в детские приюты, не от хорошей жизни, надо полагать, а как единственную возможность спасти от голодной смерти, хотя мы и находились вдали от фронта.

* * *

Здравствуй, Коля.

Умеешь ты, оказывается, быть настойчивым. Уж как мне некогда, ну вот бросил все и пишу тебе, хотя повторяться не хочется. Да, я представляю, что у тебя там за подъезд, если даже из почтовых ящиков тащат, чего бы там, а то письма. Теперь придется посыпать заказные с уведомлением, чтоб было спокойнее.

О себе и семействе своем не пишу, только воспоминания.

Про Валю Krakovу. Помню я ее еще по малышовскому корпусу. Ее кроватка стояла недалеко от двери спальной комнаты, слева. Она целыми днями лежала на спине, заложив руки за голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, напевала, светясь и сияя от восторга:

— А-а. А-а... Алик Сущенко.
— А-а. А-а... Алик Сущенко.

Этого Алика Сущенко я, признаться, помню слабовато, наверно, у него не было никаких примечательных черт, но чем-то он все же запал в душу Вале Krakovой, раз она пела о нем свои песни.

Помню, что у ней на голове, на самом темечке, не было волос, с ладонь; по-видимому, не было и части черепа, потому что очень было заметно, как под этой голой кожицей пульсирует кровь. Потом, когда мы пошли в школу, ее определили на кухню. Она мыла посуду и подъедала с нее остатки пищи.

Еще я ее запомнил почти девахой, упитанной, с

вечно красными щеками. Она уже реже пела «Алик Сущенко», но все больше сидела, раскачиваясь, в глубокой задумчивости, пока ее не окликнет повариха тетя Настя или кто-то из дежуривших по кухне.

Серега Рябцев у меня сейчас ассоциируется с Герасимом из «Муму», только что не немой. Высокий, костистый парень и уже тогда недюжинной силы. Помню, как он полотенцем «усыпал» себя и с бешеными глазами гонял нас по корпусу.

Помню, что одно время я сидел с ним в школе за одной партой, и он прямо на уроке мог вытворять такое, что мне не только писать, но и вспоминать об этом как-то неприятно.

А работник он был отличный и безотказный.

Летом он постоянно возил воду в бочке на быке или на кобыле по кличке Находка.

Соломона тоже стал понемногу забывать. А кажется еще совсем недавно помнил и фамилию его, и отчество.

Помню, какое это было событие, когда в детдом привезли пианино. До тех пор для нас и патефон был чудом. Помню, как мы слушали его, прикладывая уши к нему, стараясь понять, откуда льется звук. И как только воспитательница отворачивалась, мы моментально совали руки внутрь под основание пластинки. Так мы и не поняли, в чем суть.

Тут, представь, привозят огромный ящик. Я сам принимал деятельное участие в его разгрузке и распаковке.

У всех был один вопрос: «Что там такое?»

Кто-то изрек: «Пианина». Что за пианина? Музыка такая, и т.п., и т.д. Когда разобрали ящик, перед нами предстало черное, блестящее на солнце чудо-пианино. Вся деревня сбежалась посмотреть. Все ахали, цокали языками, каждый хотел прикоснуться руками к этому чуду.

И вот с этого момента я помню Соломона. Он похозяйски своим горланным голосом попросил всех расступиться. Мы послушно расступились. Он поставил рядом табуретку, сел на нее, открыл крышку и заиграл. Наверное, что-то классическое, нам непонятное. А потом запел:

*По росистой луговой
По извилистой тропинке
Провожал меня домой
Мой знакомый с вечеринки...*

Все сразу заулыбались. Песня хоть незнакомая, но такая родная, деревенская. Я, если напрягусь, то смогу ее вспомнить до конца.

Все стали просить его еще что-нибудь спеть, но Соломон сказал, что инструмент надо затащить в помещение, а то в любое время может пойти дождь, и пианино испортится. Мы не могли этого допустить, и срочно стали затягивать пианино через окно большого корпуса. И уже там Соломон продолжал играть и петь без нашей просьбы.

Наверняка ему самому это было в удовольствие, ведь когда он играл последний раз, кто знает.

И вот с этого дня Соломон стал, пожалуй, самым уважаемым человеком по всей Усть-Чижапке, хотя внешне он был неприятным, с большим ртом и на губах его всегда была пена. До Соломона я не помню уроков пения (я, кажется, вспомнил его фамилию – Шрайдер или Шнайдер). А как появились пианино и Соломон, мы все запели. Хорошо запомнилась песня:

*Сидит с утра на озере
Любитель-рыболов.
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов,
Траля-ля-ля...*

От него я впервые узнал, что бывают голоса первый, второй, третий, что такое тенор, баритон, бас. Что при пении не надо стесняться разевать рот, наоборот, надо его разевать так, чтобы могло войти яйцо, и т.д.

Потом, ты помнишь, он покатился по наклонной плоскости (как говорит Верка Сердючка), стал спиваться. Видимо, не выдержал испытания «славой». Пил он все, что горело. Заходил в гости к женщинам и выпивал у них одеколон и духи.

Сухушин не раз его выгонял или переводил на менее престижную работу. Я даже помню, как он зимой долбил пешней содержимое детдомовского туалета, грузил это «добро» в короб и увозил на поля.

Помню такую картину: лето, жара, а он валяется в сельсоветском дворе, и огромный племенной бык слизывает с его лица все то, что вышло наружу. Кстати, сейчас вспоминаю, что рабочие и колхозники зимой на работе пользовались спецодеждой (верхонки и куртки) из шкур тюленей. Я сам в прошлом году купил такую шапку за четыре тысячи рублей.

Писал я тебе в том письме, как мы глушили рыбу в Васюганском ручье? В бутылку насыпали негашеной извести, заливали водой, затыкали чем попало, бросали в воду, сами падали на землю и ждали взрыва.

Бутылки уносило в Васюган, а взрыва ни одного, по-моему, мы не дождались. Кто нас этому научил?

А вот как ловить щук голыми руками, этому нас научил Пономарев – директор школы («без руля и без ветрил»).

«Насыпаете, – говорит, – на мелководье клюкву. Щука подплывет, глотает ее и от кислоты зажмуривается, тут и хватайте ее голыми руками».

Помню, что однажды мы действительно ловили рыбу голыми руками, только щурят. Летом, после того как в Васюгане резко спала вода, возле ручья остались большие лужи, а в них – щурята. Мы стали за ними гоняться и такую подняли муть, что они поневоле высовывали из этой грязи свои морды. И тут только успевай.

Ты бы, Коля, написал еще, как мы хлеб морозили. Одни ходят, прячут (например, в саду на деревьях или штакетнике), а другие ищут. Потом этот моро-

женый хлеб (птиюху) зубами невозможно было угрызть, ломали в дверях или в дверцах печей и ели.

В чем прелесть, до сих пор не пойму. Видимо, сам процесс прятания и поиска нам нравился. Я не помню, чтобы среди нас процветало воровство, но и ангелами мы тоже не были, все мы – детдомовцы – потихоньку шкодили. Воровали на полях горох, турнепс и картошку.

На дежурстве по столовой при получении продуктов со склада приворовывали сахар и сухофрукты.

Был один пацан, который в это дело привнес свою особую струю, тащил все, чем мы раньше и не интересовались. Он даже умудрился проделать лаз под колхозный амбар, ножом в полу между досок проделал щель, и к нему в шапку сыпался овес, который он потом жарил на плите в недостроенной столовой. Он и нас научил жарить на ней и овес, и горох, и пластики картошки.

У всех у нас были прозвища, весьма нелестные, но точные, я и сейчас многие помню, помню и их обладателей. Как-нибудь (при встрече) об этом поговорим.

Ладно, заканчиваю.

Будь здоров, Коля.

P.S. Когда получишь это письмо, сразу сообщи. Третий раз переписывать не буду.

18.03.2005 г.

Альберт

* * *

В нашем детском доме было два замечательных мальчика, два Коли: Коля Скворцов и Коля Родиков.

Были они из старшей группы. Учились на два класса впереди нас. Коля Скворцов был отличником.

Одно лето он даже отдыхал в пионерском лагере Артек, куда посылали только самых-самых-самых, но был он скромным и не зазнайкой. Все, кто к нему обращался, взрослые или свои, детдомовцы, называли его только Колей.

Евгения Михайловна, наша воспитательница, всегда ставила его нам а пример и говорила, что если кто будет плохо учиться, того отправят в ремесленное училище, то есть в ремеслуху, а мы были о нем такого наслышаны, что пуще всего на свете боялись туда попасть.

Да, Коля Скворцов был гордостью и славой нашего детского дома.

Коля же Родиков был во многом не таким. Учился он значительно скромней. На вид был проще, ностроен и мускулист, и всегда готов был помочь там, где требовалась сила и сноровка. И хотя он был самым сильным из всех, для детдомовских ребят он был просто Колька. Его руки были постоянно заняты. Он жал березовую губку, каждую весну новую, а старую отдавал нам на мячик для игры в лапту. Может быть, вот такая несхожесть и тянула их друг к другу. Но особо они подружились, когда детдом построил свой клуб со сценой и залом. На сцене установили

пианино, на котором после Соломона давно никто не играл, и оно было закрыто на замок, чтобы мы его окончательно не расстроили.

В зале установили спортивную стенку, перекладину, брусья, разостлали маты.

Мы стали туда ходить и заниматься, кто на что способен. Тогда была в моде акробатическая гимнастика, и нас тоже ею заинтересовали. Мы разучивали незамысловатые пирамидки для показа их на праздниках со сцены перед зрителями.

А Коля Скворцов и Колька Родиков еще готовили вдвоем и свои отдельные номера. Это у них очень даже здорово получалось, и всем нравились их выступления.

В первое лето они ездили на спартакиаду школьников в районный центр Каргасок, а на следующее – в Томск, откуда привезли дипломы участников спартакиады и мяч, большой, настоящий, кирзовый, с камерой и шнурковкой.

Мы встречали их, как героев.

Вот мяч надули, зашнуровали и пошли на площадку (как Колька объяснил) играть в футбол.

Разделил он нас на две команды. Обозначил ворота, эти ворота – ваши, а эти – ваши. Поставил в них вратарей. И стал разводить нас: ты – стой здесь, ты – стой здесь, ты – стой здесь, и так всех.

Началась игра.

Решительные ребята, долго не раздумывая, сразу же устремились за мячом, ребята поскромней оста-

лись стоять на своих местах. Когда недалеко от меня прокатился мяч, а я на него соответствующе не отреагировал, Колька подошел ко мне и сказал: «Ты что стоишь?»

— Но ты же сам сказал, чтобы я стоял здесь, — оправдываясь, ответил я.

— Бегать надо, — повысил он голос.

Я стал бегать, но опять не так.

Убедившись, что толком никто не понимает сути игры, он безнадежно махнул рукой: «А, как хотите!» — и ушел, рассердившись.

Мы же, как щенята, которых вдруг отпустили на волю, от радости визжа и лая, понеслись наперегонки за мячом, чтобы хоть разок его укусить, то есть пнуть.

В тот день мы за мячом гонялись по всей детдомовской площадке, побывали во всех ее углах, с единственными перерывами на обед и «мертвый час».

К сожалению, вскоре мяч проткнули, а потом и совсем истрепали на нет. Но желание пинать хоть что-нибудь у нас еще долго сохранялось, причиняя невосполнимый ущерб нашим ботинкам, доставалось и ногам. А какие хлопоты из-за этого были у наших воспитательниц!

К осени клуб переделали под столовую, потому что старая столовая стала ветшать на глазах: прогнулась крыша, плахи пола расхлябались и местами прогнили, печь постоянно трескалась и дымила, и сама столовая по самые окна осела в грунт.

* * *

Еще хочу сказать несколько добрых слов о мальчике по имени Мия.

Его привезли в детдом осенью в начале учебного года.

Мы же учились в третьем классе.

Был он из васюганских ханты (остяков, как их тогда называли). Его родители утонули на рыбалке, а близких родственников не отыскалось.

Был он такой полный медлительный, круглолицый увалень. Про таких в шутку говорили: глаз узкий, нос плюс大的, и сам нерусский. Не знаю почему, но между мной, Олегом и Мией возникла взаимная симпатия. Наверно, он признал в нас своих младших братьев, и как со своими младшими братьями, он играл и возился с нами. Издавая боевой клич (должно быть, своих далеких предков) «Ки-ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки!», он наступал на нас, сводя и разводя руки, согнутые в локтях. Но при этом рот его расплывался в хитрой улыбке, а из узких щелочек глаз поблескивали карие угольки.

Мы же, прыгая и хохоча, налетали на Мию, хлестали его полотенцами, скрученными в морковку, и отскакивали, чтобы через какое-то время снова наброситься.

По всей вероятности, ему было больно, ведь мы хлестали со всей силы, какая в ту пору у нас была, да еще мусили хвостики этих морковок, чтобы было весомей.

Но ни чувства боли, ни чувства обиды или тем более злости мы не замечали на лице Мии.

Мы скакали по койкам, бросали в него подушки, лупили полотенечными морковками, а он и не старался нас поймать, просто делал вид, что хочет поймать, и только.

Однажды я убегал от него по коридору, забежал в спальню комнату и со всего лета нырнул под кровать, и – прямо переносицей о ее железную ножку.

Вот уж где я поскучил, вот где покорчился, видать, за все те боли, причиненные мной Мии.

... Много времени прошло с тех пор.

Много воды утекло из Васюгана. Нет уже там нашего детского дома. И от всей Усть-Чижапки осталось несколько домов, вроде охотничьей заимки. Забыл я многих ребят, их имена, прозвища, а вот Мию не забывал никогда. А так бывает только с настоящими друзьями.

* * *

В Усть-Чижапке жила одна эстонская семья, эвакуированная в Сибирь во время войны. Они работали в колхозе. Их дом стоял над обрывом возле моста на Кривошеенку. Жили они обособленно. Их сын одну зиму учился с нами, а на следующую бросил. Он плохо говорил по-русски и был для нашего класса как бы переросток. А запомнил я их вот почему.

В начале сентября, когда огороды уже убрали, а в школе вовсю шли занятия и по утрам были хоро-

шие заморозки и выпадал иней, мы: я и двое детдомовских мальчиков – решили сходить попечь картошки.

Была цветущая пора бабьего лета. Сияло солнышко. Деревья кругом красовались во своем убранстве.

Мы решили далеко не ходить, а сходить за могилки и по пути пройтись по огороду возле могилок (любой огород после уборки можно перекопать и насобирать для себя что-нибудь, во всяком случае – картошки).

Возле обваловки развели костерок, рядом сложили собранные картошины, ждем, когда нагорят угли.

Сидим открыто. А что нам? Мы же не воровали.

И вот, когда угли нагорели, мы разгребли их, сложили на это место картошины и снова сгребли, на дороге показались эстонцы. Там возле обваловки, недалеко от того места, где мы расположились, был их погреб. Он был открыт, но мы туда даже и не заглядывали.

Они шли спокойно, и мы сидели спокойно.

Но то ли они, то ли кто из нас сделал резкое движение, но мы вдруг срываемся с места и бежим.

Естественно, они за нами, ведь, если мы побежали, значит, виновны, значит, нас надо догнать.

Ну что нам стоило подождать их и, если бы они к нам подошли и спросили, что мы делаем, объяснить им, что пекем картошку, что собирали ее там-то и там-то, в крайнем случае, они заглянули бы в свой погреб убедиться, все ли на месте.

Мы пересекли лужок, подбежали к дороге, ведущей из деревни в лес и на поля. Здесь один из мальчиков побежал в сторону леса, другой, наоборот, в сторону деревни, а я прямыком через дорогу в болото, думая, что за мной не побегут.

Прыгнул раз-другой с кочки на кочку и понял, что мне не убежать, и остановился.

Виктор Александрович был страшно недоволен, ведь ложилось пятно и на воспитанников детского дома, и на весь коллектив, и на него самого как директора.

— Ну, что, — сказал он, — когда мы остались одни, — рассказывай, с кем был? Я молчу.

— Ну, да, ты ничего не скажешь, понятно, но мне-то можешь сказать, обещаю: никому ничего не будет.

И я начал выдумывать. Дескать, двое деревенских на перемене подошли ко мне и дали печеную картошку. А когда я ее съел, они спросили: «Вкусно?..» Я ответил: «Вкусно!» Тогда они сказали, что если вкусно, то сегодня после уроков можно будет сходить за морилки, где уже припасена картошка, и ее испечь. А за это я им обещал завтра принести свою утреннюю порцию хлеба — пайку (птишку, как мы ее называли). С хлебом тогда было туто и нам, детдомовцам, и деревенским тоже. А кто они, я, конечно, не знаю.

Это было, вероятно, мое первое сочинение, и весьма неудачное, потому что тот, кому оно было адресовано, его не понял и не оценил, вернее, оценил, но по-своему.

После второго и третьего талдычания одного и того же Виктор Александрович не сдержался и отвесил мне такой подзатыльник, что у меня зачесался нос, и из него потекла кровь.

И я заплакал. Нет, не оттого, что больно, не оттого, что потекла кровь, заплакал от обиды — мы ведь не воровали, а как это объяснить, все равно не поверят.

Виктор Александрович подошел и стал успокаивать, жалеть. И я разревелся еще пуще, так, что перехватывало дыхание, и, казалось, вот-вот я задохнусь. Тогда он отошел к окну и стал в него смотреть. Кровь идти перестала. Виктор Александрович, не оборачиваясь, сказал, что я могу идти. И я вышел.

Эстонцы уехали, как только им пришло разрешение вернуться на родину. Незаметно разобрали и их дом. Никакой злости или обиды я на них не держал и не держу. Да и сами они, наверно, переживали, когда потом спустились в погреб и убедились, что там никто ничего не брал. Дай Бог, чтобы, несмотря ни на что, у них сохранились добрые воспоминания о нашей Усть-Чижапке.

* * *

В начале сентября (уже шли занятия в школе) наша группа третьеклассников пошла на Успенку, где находилось наше подсобное хозяйство, убирать картошку. Обычно туда плавали на неводнике, но в этот раз его уже отослали с другими ребятами. Нас по раньше покормили обедом, и мы пошли, чтобы к ве-

черу непременно успеть. С нами был кто-то из старших ребят, кто не однажды там бывал.

Пока шли полями на виду Чижапки, были веселы, шутили, держались плотно. Но как только после третьей корчевки зашли в лес, сразу стало сумрачно и сыро и дорога сузилась до ширины телеги, ибо по сторонам высились гигантские лесины, в основном кедры, ели и лиственницы, группа стала растягиваться.

Кто шишку подберет, кто бурундука увидит и погонится за ним, кто рябины сорвет горсть, то лужи обходить надо. В общем, к середине пути мы шли не все вместе, а отдельными группами. Нас было человека четыре, и мы как-то непроизвольно стали громко переговариваться друг с другом, чтобы показать кому-то, что мы не одни, что нас много, что мы не боимся.

После, уже в Томске, учась в старших классах и проходя Горького и его «Данко», я очень даже ясно представлял тот страшный лес, через который Данко выводил людей, это была Васюганская тайга тех лет.

Когда мы подходили к гати, где еще совсем недавно, в середине лета, убили секретаря парторганизации колхоза, молодого, прошедшего войну и не имевшего ни одного ранения, мы притихли и стали тревожно осматриваться по сторонам.

Вот эта гать. Где-то здесь два брата, которым он «перешел» дорогу, подкараулили его и веслом сзади ударили по голове. Столкнули в трясину, думали, что

он утонет в ней, а он полой пиджака зацепился за лежневку.

Лес был высок, грозен и неприветлив.

Животный страх обуял всеми нами, и мы, даже не сговариваясь, враз побежали. Побежали, не разбирая ни вывороченных корневищ, ни упавших стволов, ни того, что в любом гиблом месте можно оступиться и угодить в прорву. Нам казалось, что кто-то и сам лес во главе бегут за нами и вот-вот нас настигнут. Наши сердца трепещут вовсю. Мы стараемся не терять из виду бегущего впереди. Невидимая сила подняла нас и понесла как на крыльях...

Но вот лес стал светлеть, редеть, блеснуло солнце, запахло близостью реки. Пошли луга, озера, запели птицы. Васюган. На той стороне Успенка. Спасены. Мы переходим на шаг, доходим до Васюгана и садимся передохнуть. Ребята, пришедшие раньше нас, с той стороны гонят лодку. Мы забываем о страхе, шутим и смеемся.

Здравствуй, Коля!

Ты один, и я на сегодня один. Потому и пишу. Супруга улетела к детям на неделю, и у меня выдалось свободное время. А вот приехать я все равно пока не смогу. Она в субботу улетела и в следующую субботу должна прилететь. Надо встречать. А то бы уже примчался. Откликаюсь на твою просьбу. Пишу, что помню о детском доме. А помню я со временем все меньше.

О Пономареве («без руля и без ветрил») я тебе писал. Он преподавал историю, а жена его... дай бог памяти, кажется, ботанику и зоологию. Оба были типично русскими людьми. Он – высокий мощный мужчина, она симпатичная, невысокого роста, с косами, уложенными на голове короной (тогда было модно), с приятным грудным голосом.. Пономарев считал себя одним из первых покорителей тех мест. Любил рассказывать, как они прививали культуру аборигенам (остякам и тунгусам). В том числе как анекдот: «Решили научить остяков выращивать картофель. Раздали каждой семье по мешку семенной картошки. На другой день остяк приходит к русскому (якобы Пономареву) и докладывает: «Товарищ начальник, куль садил, куль копал, ни один картошка не пропал».

Видать, он очень любил свой предмет. Бывало, кто чуть спутается в ответе, он тут же подхватит, да сам и закончит, только поддакивает ему в знак согласия.

Когда он рассказывал о каких-нибудь грозных событиях или войне, всегда заканчивал так: «И остались они без руля и без ветрил». Этим особенно и запомнился.

А ты помнишь, Коля, какая тогда была Елена Ефимовна, жена нашего директора Виктора Александровича, – молодая, красивая, статная вся, настоящая украинка. У ней были густые длинные волосы, и заплела она их, как и жена Пономарева, в две толстые косы, которые укладывала на голове одну на другую

так, что получалась шикарная корона. И в этой короне она была как настоящая царица.

Мне кажется, что они в чем-то даже соперничали одна с другой. Елена Ефимовна тоже работала в школе. Преподавала в младших классах, правда, нас, дет-домовцев, она не учила, вероятно, из соображения того, что ее муж – наш директор, или почему-то другому, не знаю. Еще, когда ее что-то волновало или расстраивало, она говорила: «Ну вот, опять история с географией». Помнишь?

О Мии. Помню, что был он мешковатым увальнем, с хитрыми, но в то же время смеющимися остыцкими глазами, с медвежьей походкой и с медвежьей же силой. Его отличало то, что он в любой драке никогда не стонал и тем более не плакал, а только сопел. Это чуть было его не погубило в той драке, о которой я тебе как-то рассказывал.

Я уже не помню ни причины, ни повода. Помню, что враждовали корпусами. Дело было в начале осени, или просто осенью, потому что мы уже засыпали завалинки на зиму и в тот день получили зимнюю форму. Это был банный день.

Надо сказать, что к этой драке мы готовились по всем правилам военного искусства. Высыпали парламентеров для переговоров между сторонами, вооружались. Я себе выстругал из корневища березки булаву, как у Ильи Муромца, и приготовил щит (крышку от оцинкованного бачка). Еще помню, что на вооружении у одного из наших была половинка

«бомбы». Это бомба на уроках физики использовалась для проведения опыта. Она была чугунная, шарообразной формы, полая внутри, и было у неё горлышко с резьбой. Внутрь заливалась вода, завинчивалось горлышко пробкой, и бомба выносилась на мороз. В результате бомба раскалывалась пополам. Вот такую одну половинку наш боец спер и использовал её в драке.

Мы жили в малом корпусе (бывшем «малышовском»). Все были готовы и морально, и физически к этой драке. Но враг оказался тактически умнее нас.

Когда мы возвращались из бани – благодушные, с полученной зимней формой, естественно, не вооруженные, на нас с чердака стали сыпаться «воины» противника. Завязалась «сеча». Я своим оружием не успел воспользоваться: меня отрубили сразу, но кое-кто успел-таки добраться до своих тумбочек, кроватей и вооружиться, в том числе и наш бомбист.

Бой велся в темноте и тесноте, потом вылился на улицу и прекратился только тогда, когда прибежали «воспетки» (воспитательницы, пусть уж меня простят).

Нас, как обычно в таких случаях, построили в линейки в своих корпусах, стали выявлять зачинщиков, да разве их выявишь?

Тут прибегают из большого корпуса и говорят: «Мии нет!» Все бросились искать. Искали, искали, не нашли, нигде ни оха, ни вздоха. Только утром кто-то обнаружил его за корпусом в канаве от завалинки с

проломленным черепом. А этот, с бомбой, потом хвалился, что именно ей он и огrel Мию по голове.

Что стало с Мией, я даже не знаю, я уехал, он еще оставался.

Ну, а что касается Успенки, тут можно много писать, ведь основные приключения происходили там или по пути туда.

Но ты, Коля, просиши рассказывать о конкретном случае, тогда читай.

Я уже не помню фамилию семьи, что жила на Успенке, хотя еще недавно помнил. Звучная русская фамилия. В то лето вернулся к ним из армии сын Андрей. Красивый, крепкий такой парень. Рассказывал нам байки про армию. Всем он нравился. Хотя мы легонько и шкодили у них в хозяйстве, но он относился к нам, пацанам, по-приятельски.

Не буду врать, за что я ему приглянулся, но на вечернюю охоту на уток он выбрал именно меня. Я не сомневался, что постреляю из ружья и, возможно, даже убью утку. Но мне пришлось исполнять роль собаки. Он подстреливал уток, а я плавал за ними.

Ты, наверное, помнишь эти озера? Вокруг острая осока и вязкие торфяные берега. Разденусь, комары тучами налетают, а еще мошкара, поневоле скорей ныряешь в воду. Потом с грязными ногами лезешь в штаны. Да все бы ничего, но однажды подплываю, безбоязненно хватаю утку, а оказалось – это не утка, а ондатра, да еще живая. Я – обратно. А Андрей кричит с берега, чтобы я и ее тащил. Я кричу, что она

живая, и я ее боюсь. Тогда он снова выстрелил в нее, так что дробь рядом со мной просвистела. Дал он мне выстрелить только тогда, когда на нас стал нападать филин. Прямо атаковывал нас. Я стрелял, чтобы отпугнуть его.

Ну, все. Будь здоров, Коля. При встрече что-нибудь еще вспомним.

Альберт

* * *

Одно время в нашей группе воспитателем был довольно молодой человек из бывших военных.

К нам он приходил всегда в светлой рубашке, кителье, галифе и хромовых сапогах, начищенных до блеска. Прическа была «полька» или «полубокс». Походка прямая. Нас он не воспитывал, а как бы играл с нами, еще маленькими.

После обеда у нас полагался «мертвый час». В тот день погода стояла изумительная. Теплынь невероятная. Спать не хотелось. Хотелось на речку, поближе к воде. Но... Дисциплина, расписание.

— Ладно, — согласился он на наши уговоры, — вот если отгадаете загадку, одну всего, тогда идем купаться, а не отгадаете, всем спать.

— Давайте. Согласны, — дружно ответили мы.

— Ну, вот, — начал он и обвел палату загадочным взглядом, — под койкой валяется, на «пэ» и «тэ» называется.

— Пила и топор, — нетерпеливо выкрикнул кто-то.

— Нет, зачем они там?

- Пуля.
- Патроны.
- Пимы.

Стали мы выкрикивать наперебой.

- А тогда «тэ» – что?

- Таз.

- Танк.

- Ну, уж, – улыбнулся он. – Не знаете.

- Тогда отгадайте вторую, совсем легкую:

- На стене висит и блестит.

- Зеркало.

- Сабля.

- Картина.

- Э-э-э, нет, нет, – сказал он и повернулся к двери.

- Скажите. Скажите, – стали мы просить.

- Ладно, но чтобы отдохнуть.

- Селедка.

- ? ? ?

– Вот это да! А как она там оказалась? – спросил самый находчивый.

- Моя селедка, куда хочу, туда и повешу.

- Тогда почему блестит?

- А я и сам не знаю, – ответил он.

- Тогда про «пэ» и «тэ»?

- Про «пэ» и «тэ»?

- Хорошо, так и быть.

- «Пэ» – это патинок.

– А «тэ», – он выдержал паузу: – Тругой патинок, – и засмеялся.

Засмеялись и мы вместе с ним.

– Отдыхайте.

После его ухода мы, как нас учили, повернулись на правый бок, ладошки под щеку и погрузились в свои сны.

* * *

После «мертвого часа» или в какой другой день мы всей группой пошли на Васюганский ручей, на его устье, порыбачить, картошку попечь и просто так – совершить прогулку. Первым делом рыбаки размочтали удочки, свободные стали собирать дрова. Ручей обмелел и на нем клевало плохо – одни малявки. И рыбаки пошли рыбачить на сам Васюган.

Когда испекли картошку и рыбку, какую удалось поймать, поели и как бы стало нечего делать и не о чем говорить, он сказал:

– Давайте, я сейчас перебегу через ручей и не замочу сапог.

Он посмотрел на свои хромачи.

– Не верите?

– Кто-нибудь перейдите-ка на ту сторону.

Он прошел немного вдоль ручья, выбирая место.

А глубина была, если нам, то выше щиколотки уж точно, а посередине почти до колен.

Мы встали у берега, чтобы лучше видеть.

Вот несколько быстрых шагов: раз, два, три, четыре – и он на той стороне.

Там посмотрели и крикнули: «Сухие».

Перебежал обратно к нам. И снова никаких следов, что только что бежал по воде.

Невероятно.

Стали бегать и мы, шлепая по воде своими ботинками, но, увы, у всех они промочились с первых же прыжков.

— Эдак не получится, — сказал он, — надо всей ступней ставить ногу на воду так, чтобы вода разошлась, и прежде, чем она сомкнется, успеть коснуться дна, оттолкнуться от него и выскоить из воды. Так попеременке одной ногой, потом другой.

Мы опять стали бегать через ручей, стараясь использовать полученные знания, и снова ни у кого не получалось, только смех, крик, шум. Он еще раз перебежал ручей туда и обратно, и сапоги были совершенно сухие.

Мы были в восхищении.

Но был он у нас всего одно лето и одну зиму. Потом уехал. Жаль. Мы с ним подружились.

* * *

Наш воспитатель был человеком спортивным и нас приучал к спорту. К концу зимы, когда солнце стало пригревать и все выше и выше подниматься над Чижапкой, он сказал, что будем сдавать кросс на значок БГТО.

Вечером он с одним мальчиком наметил лыжню. Утром нам выдали лыжи и лыжные палочки. Крепления были мягкие, для валенок.

Мы спустились, а кто и скатился с обрыва за старшим корпусом на пойму. Надо было сделать круг: добрежать до Васюгана, вдоль него до ручья, и от него вернуться на старт.

Сначала мы побежали дружно и с азартом, всей толпой, даже помогая себе палочками. Но с ними мы никогда не бегали и не катались, и вскоре они нам стали только мешать, и мы их оставляли вдоль лыжни, переходя на привычный нам стиль: недлинный шаг, но размах рук до предела – от плеча и до плеча.

Потихоньку, помаленьку прошли все.

Распаренные и раскрасневшиеся, поднялись и зашли в корпус, составили лыжи, и каждому из нас был вручен значок.

Он выглядел так: сверху знамя, на нем буквы БГТО. Чуть ниже, вокруг значка, зубцы, как от шестерни. В центре значка бегущий мальчик пересекает финишную ленточку.

Этим значком мы очень гордились – первая награда. А потом привыкли, а потом и терять стали. И все же в наше время каждый мальчик хотел сдать спортивные нормы на значок БГТО – Будь готов к труду и обороне, и носить этот значок, где ему и положено было быть, – на груди.

* * *

Здравствуй, Коля.

Наконец удосужился написать тебе по твоей просьбе. Для сохранения эпистолярного жанра сначала надо бы спросить: как твои дела? (Но ты отвечаешь только по телефону.)

О себе. Вчера у нас с супругой исполнилась тридцать седьмая годовщина нашей совместной жизни. На старый Новый год мы навещали наших старых друзей Зайцевых, Ирину и Владимира Ильича. В разговоре вспомнили и о тебе. Они тебя помнят.

А вот о новогодних подарках в детском доме я помню плохо. Даже орехи не помню. Мне только запомнился тот год, когда я часть подарка спрятал под крыльцо большого корпуса с тыльной стороны (со стороны обрыва). Помню, что положил туда конфеты «Счастливое детство» и пряники. Конфеты мои после какого-то времени растворились, а с пряников облезла глазурь. Может быть, это был тот Новый год, который был самым счастливым, самым ярким в буквальном смысле, потому что к нему приурочили пуск местной «электростанции» и дали электрический свет.

Как мы все ждали этого события, помогали как могли. Помню, что устанавливали столбы, что-то еще делали. И вот, наконец, соединились два праздника в одном. Это для нас было чудо, в полночь везде светло. Лампочки грели и на столбах, и даже гирлянды лампочек на нашей елке горели.

Помню, что электрик, по-моему, Леша, был самым популярным парнем в тот Новый год как в детдоме, так и во всей Усть-Чижапке. А запомнил я его еще и потому, что ревновал его к одной нашей девчонке. Да-да. Не улыбайся. Ты же помнишь, что в целом в детдоме господствовала неприязнь к противоположному полу. Мы девчонок иначе, как бабы, и не называли, и обзывали всяко, и били при каждом удобном случае. Они нам отвечали взаимностью, адекватно, как сейчас говорят. Но природа, видимо, брала свое, и каждый наверняка имел свою симпатию, но скрывал это.

Так, мне проходу не давала Пичугина, а я тайно «любил» Валю Луценко. Как сейчас помню ее сероголубые открытые глаза, всегда румяные щеки, яркие, сочные губы и всю ее украинскую стать, то есть в меру стройную и в меру пухленькую. Но она, видимо, была старше меня. Уже тогда она выглядела девушкой. И мне казалось, что все ее любили так же, как и я. Я не помню, чтобы кто-то ее обзывал, а тем более бил. Так вот, в тот Новый год все мы реввились, играли в игры, танцевали.

Накануне нас научили танцевать экзотические даже для города танцы: падеспань, падеграс, ну и полечку, и краковяк. Все мы танцуем организованно, а этот Леха выпил хорошо и лезет ко всем девчонкам обниматься да целоваться, особенно к Вале Луценко. Прямо убил бы его тогда.

Помню, как местные эдисоны демонстрировали нам, темным, свои познания в электричестве. Заби-

вали гвоздь в полено или палку и совали в патрон, патрон искрил и трещал, и в итоге гас свет. Потом электрик Леха бегал по объектам и искал, где произошло замыкание.

Начал писать 21.01.04, а сегодня 26.01.04.

За это время получил еще одно письмо с дополнительными вопросами. Сколько ведер бражки настаивалось в бочке, сказать не могу, ведь в детстве все кажется огромным. Я помню деревянную бочку с деревянной же пробкой на амбарном замке. Бочка эта стационарно стояла на русской печке в детдомовской столовой. Была еще и большая плита для приготовления пищи. Повариху нашу звали тетя Настя. А замок на пробку повесили, чтобы дежурные по кухне не черпали бражку. Когда бражка настаивалась, ее цедили, переливали в другие емкости и отвозили на место праздника, в школу или сельсовет.

Помню я и о Толе Романенко, и о Соломоне, и о револьвере, многое помню, а вот о каких самолетиках спрашиваешь, я не знаю. Помню, как мы устраивали на Чвору абордажные бои на чужих обласках и лодках. Тебе бы надо написать, как мы дрались с интернатовскими, как искали сбежавших из детдома или потерявшимся в урмане. Для этого в детдоме была установлена сирена, которую слышно было аж в Березовке.

Пиши все.

Ну, будь здоров. Лимит письма закончился.

Жму руку.

Альберт.

* * *

Здравствуй, Коля. Получил твоё письмо на третий день по приезде из Белокурихи. Спасибо.

Хотел в санатории всем написать письма, в том числе и тебе. Думал, там нечего будет делать, буду писать да читать книги. Но не написал ни одного письма, а книг прочитал всего две. Во-первых, времени мало оставалось от процедур и прочих занятий, а, во-вторых, не было надлежащих условий. В номере стоял журнальный столик по высоте на уровне кровати и – ни одного стула.

Короче, отдохнул неплохо. Было бы денег побольше, отдохнул бы еще лучше.

Теперь отвечаю на твоё письмо по поводу воспоминаний о детском доме.

Давай, пиши все, что сочтёшь нужным.

И, если ты выпустишь книжку, я буду очень рад. Может, она кому из наших попадет. Прочитает.

Конечно, если бы ты был рядом, мы бы многое вспомнили, что-то вспомнит один, другой подхватит, разовьет, ведь воспоминания приходят в соответствующих условиях, когда голова ничем не занята, перед сном, или когда делаешь какую-то монотонную работу, или когда едешь далеко на машине, хоть за рулем, хоть пассажиром.

А сейчас я пишу на работе, выбираю минутки, но то и дело кто-нибудь заходит, звонят телефоны. Так. О праздновании Нового года я тебе уже писал, о «спичечной фабрике» ты лучше меня помнишь, об

учителе Пономареве («без руля и без ветрил») написал, об Успенке – тоже, да и о коне Марше.

Кстати, в Белокурихе была такая услуга: сфотографироваться с медвежонком за сто рублей. Так я каждый раз, проходя мимо, останавливался возле него, любовался им и вспоминал нашу детдомовскую Машку.

А вот о моем приезде в Томск многое помню. Начну с того, что по окончании учебного года всем, кто перешел в следующий класс, выдали по шоколадке, а нам, отъезжающим, – по две. Это – впервые за все годы жизни в детдоме. При всем при том я не стал их есть, а решил привезти гостинец домой. Кроме этого, нам дали еще по несколько банок сгущенки (тоже впервые). И все. Больше из продуктов ничего не запомнил. А плыть предстояло суток семь.

Провожали меня до слез трогательно. Друзья подарили мне свое самое дорогое, в том числе цепочки, свитые из медной проволоки, манки на бурундуков, сделанные из патронов (гильз), и даже складник, который складывался как-то оригинально, что в руках он уже произвольно не складывался. И денег насобирали целую баночку... от сапожного крема. Плюс к тому поотдавали мне и ненужное: зубные щетки и порошок, нам их выдавали, но зубы редко кто чистил. Все это богатство я сложил в выданную мне на волочку.

Особая история – как меня одевали. Почему-то мне предложили выбор: в летнее одеться или в зим-

нее, а на дворе июль, жарища. Друзья убедили меня получить зимнее, дескать, оно дороже, а каково мне придется дома — неизвестно. Практичные. Вот и оделся я во все зимнее: в зимнее пальто, в зимнюю шапку, зимнее нижнее белье. Все это старое, ношенное. В шапке вся вата сбилась в концы ушей, и они болтались, как грузила. Пальто в таком же состоянии, серое и не суконное, а, как моя бабушка говорила — бумазейковое. Только ботинки я получил новые и на два-три размера большие (на вырост). Они потом загнулись, как лыжи.

Кроме того, друзья дали мне, один — свою нижнюю рубаху, а другой — свою «фасонную», ему ее из дома прислали, она была с кармашками.

Почему-то мы боялись, что нас перед посадкой на пароход будут обыскивать, и мне пришлось эти рубахи надеть на себя.

Пароход, как ты знаешь, причаливал у Березовки, и мы шли туда километра четыре пешком. Представляешь мое состояние? Толпа друзей следовала за нами. Все шутили, смеялись. Было весело. Подплыл пароход «Козьма Минин». Никто нас не обыскивал. Пока мы видели друг друга, все махали руками. Как только причал исчез из виду, на меня нахлынула такая грусть, такая тоска, что слезы невольно потекли из глаз. Только теперь я подумал: «Куда я еду? Что меня ждет? И кто такие тетя Зина и тетя Муся?»

А надо тебе, Коля, напомнить, что к тому времени мы уже переписывались, и ты в одном из писем рас-

сказывал и даже схематично нарисовал, где ты живешь. Видимо, предполагал, что я приеду и буду тебя искать. Помню, что ты рисовал водоразборную колонку, клуб завода «Фрезер», Лагерный сад.

На пароходе расположились мы на жестких деревянных полках. Никакой постели. Под голову я использовал свою наволочку-сумку. Ты помнишь, что в ней лежало?

На пароходе работал буфет. Помню, что там продавали пончики, наверное, и хлеб продавали, потому что, сколько я помню, всю дорогу мы ели только хлеб, сгущенное молоко и запивали кипятком из титана. И уж насколько я мечтал о сгущенном молоке, а за эти дни оно мне просто опротивело.

Со мной плыли еще братья Руфановы до Каргаска и Ноговицына до Томска. Я с ними мало общался (наверно, прятал слезы). А сопровождала нас Евгения Михайловна Ришаева — наша «воспетка» по кличке Клюка, жена Лысого Пантиста.

Когда в Каргаске мы пошли провожать Руфановых до дома, меня поразила их встреча с матерью. Они оба в толстых очках. Их мать и напустилась на Евгениюшку, дескать, я вам отдавала здоровых сыновей, а вы мне привезли их слепыми. Не нужны они мне. Забирайте их обратно. И в таком духе.

После этого я еще больше загрустил: «А что, если и меня так же встретят?»

А ты знаешь, Коля, когда мы вышли от Руфановых, наша Евгения Михайловна заплакала. Я никогда и

предположить не мог, что эту железную Клюку можно чем-то так развлечь.

Тоску мою опять же развеивал медвежонок, находящийся на пароходе. Я часами с ним забавлялся, играл. Потом я подружился с пацаном, моим ровесником. Он вез свою больную мать. Сама его мать постоянно лежала на полке, а он был за хозяина. Все семейные деньги хранились у него защищены в поясе. Он только мне доверился. Мы вместе проводили время. Мы заходили в туалет, он снимал с себя пояс, доставал нужную сумму, чтобы купить в буфете продукты и накормить мать и себя.

Я тоже поначалу покупал на свои – из баночки, но они скоро кончились, и он продолжал подкармливать и меня.

В Томске нас встретил Володя К. Видимо, была договоренность. Ноговицыну мы «сдали» быстро, а вот со мной были проблемы. Дело в том, что вызывала меня тетя Зина, и в письмах она писала свой адрес так: город Томск, завод «Манометр». Она там работала. А день нашего приезда, должно быть, был выходным днем. Володя нас водил по городу, наверно, ходили и на завод. Помню, что потом пришли на главпочтamt. Они зашли в помещение, куда-то звонить, а я остался на улице и уселся под стендом с газетами. Люди подходят, читают, а я сижу – весь из себя в зимнем: в пальто, в шапке с заячьими ушами, жую булочку с карамельками «Кизил», а на улице асфальт плавится. Двум молодым девицам, должно быть, сту-

денткам, я чем-то приглянулся, потому что одна из них, которая ела мороженое, воскликнула: «Ой, смотри, какой хорошенъкий цыганенок! Спляши, я тебе на мороженое дам».

А я на ее восклицание ответил таким забористым матом, что она и свое мороженое уронила.

Потом мы ночевали у Володи в его общежитии на улице Семашко.

Ладно, Коля, заканчиваю. Я же говорю, что это рассказывать надо.

А писать необходимо и время, и условия.

Ну, будь здоров. Может, летом сподобишься в гости.

Альберт.

P.S.

На этом мы с моим другом Олегом-Альбертом попрощаемся. Он отслужил в армии. Встретил замечательную молодую особу. У них семья. Два сына. Есть внуки.

И я молю Бога не оставить их своим вниманием.

* * *

Летом почту привозили в Чижапку на катере, а зимой на лошадях. Катер был дощатым, крохотным, почти игрушечным. Над его кабиной возвышалась небольшая деревянная мачта с огоньком наверху. А спереди, прямо у кабины, была труба. Когда внутри катерка что-то заводили, из этой трубы начинали вылетать аккуратные голубоватые кольца, похожие

на калачики. Эти калачики по мере подъема тихонько таяли, и нам было интересно за ними наблюдать.

Через много лет точно такой же катерок я увидел в городе Вологде. Помните изумительные «Вечерние стихи» Николая Михайловича Рубцова, тоже воспитанника детского дома, только села Никольское, что в Вологодской области:

*Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятенье и тоску,
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет.
Я уплыву за Вологду-реку.*

*Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком...*

И далее.

В том году у меня в Москве вышла первая небольшая книжка стихов. Я приехал, но не вовремя, в издательстве как раз были выходные дни, и я решил побывать в Вологде, поклониться могилке Рубцова. Поклонился. И Вологда подарила мне возможность еще раз увидеть катерок, может быть, тот самый, с нашего Васюгана, который совсем недавно перевозил автора чудесных стихов через речку Вологду в ресторанчик «Поплавок».

Мне вспомнилась наша Усть-Чижапка, детский дом, обитатели детского дома, воспитатели, учителя,

деревенские улочки, мостики, проточки и дощатый катерок с калачиками над трубой, привозивший нам почту. В волнении зашел я на «Поплавок», к тому времени ставший столовой. Зашел просто так, посмотреть, и если что, перекусить на дорожку. На этой стороне речки были мостки, с них женщины полоскали белье. На той — возвышалась гора песка, с которой ребятишки скатывались и плюхались в воду.

Все было как при нем, Николае Михайловиче Рубцове.

P.S.

О самой поездке я расскажу чуть позже, а то получается как-то раньше времени.

* * *

В четвертом классе, весной, когда снега стало не так много, мы пошли на третью корчевку, восстановить развалившиеся за зиму поленицы дров, приготовленных для пароходов, ходивших по Васюгану.

У самого леса к дороге примыкало поле льна. Летом оно было на удивление нарядным со множеством небольших голубых цветочков, как будто это поле надевало свой праздничный платок и передничек. В середине лета на них появлялись круглые коробочки, бледно-зеленые с белесыми семенами внутри, они были невкусными. Зато к осени коробочки желтели, а семена принимали свой коричневый цвет и приятный масляничный вкус. И мы, когда

ходили на третью корчевку пособирать шишек, срывали их и ели.

На третьей корчевке мы шишки не били, а именно собирали, ибо кедры там стояли такие, что залезть на них было невозможно – нижние ветки начинались так высоко, что и самым ловким ребятам было не под силу туда добраться. А сами стволы были такие, что мы втроем, а то и вчетвером не могли их обхватить.

Когда дошли до этого поля, немного задержались.

Мы переворачивали лен, из-под которого разбегалось несметное множество мышей-полевок, зимовавших под ним, и сами с удовольствием ели семена прямо с коробочками.

На корчевке нам дали задание: собрать на «столько-то» человек «столько-то» поленниц, и мы старались сделать это побыстрей, чтобы еще походить по лесу, пособирать серу – смолу лиственниц, с них она получалась особенно красивой и приятной на вкус, посмотреть следы зверушек и птиц. Следов было полно, всяких, особенно на опушке, и мы, перебивая друг друга, пробовали их отгадать.

На обратный путь наломали по охапке березовых веток и дома, в классной комнате и спальне, от них отщипывали смолянистые, уже набухшие почки для больницы.

* * *

Настал день отъезда. После завтрака зашли в корпус, взяли свои узелки и пошли к конторе. Там, на складе, поискали мое пальто и шапку, не нашли, дали вещи другого мальчика, довольно поношенные, а я-то свои берег, знал, что поеду.

Отъезжающих было трое: воспитательница наших девчонок, уезжающая в отпуск и сопровождающая нас, одного мальчика, которого потом сдали в Каргаске, да вот еще я.

Подошла подвода. На телегу положили свой скарб и пошли. Ребята проводили нас до конца Усть-Чижапки. И сердце сжалось как никогда: что там впереди? Так ли все сложится, как мечталось?

Небо с утра было чистым и ясным и, казалось таким будет весь день. Но, подъезжая к Березовке, соседней деревне, где находилась пристань, оно как-то враз затянулось сплошной, серой, невыразительной не то тучей, не то пеленой, и закрапал мелкий дождь, усиливая грусть. Ни здания речного вокзала, ни просто какого-нибудь сарай тогда еще не было, и пришлось вместе с другими ожидающими немного помокнуть. Подошел «Чехов», небольшой пароход, плавающий по Васюгану.

Пароход запаздывал. Нас поторапливали. Как только мы погрузились, он тотчас отплыл.

Возле Васюганского ручья я вышел на прогулочную палубу посмотреть, может, кто пришел помахать на прощание. Никого не было. Такая погода – кто придет?

В Каргаске было то же самое. Надо было идти в сторону аэропорта (аэродрома – как тогда называли). На окраине Каргаска, в болоте, стояло несколько низеньких избушек, к ним вела узкая дорожка, выложенная чурочками, верней, эти чурочки были торцами или вдавлены, или вбиты в болото. Иногда то справа, то слева чурочек не хватало, и в этих местах тяжело свинцевала вода. Надо было внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться.

Воспитательница шла первой, за ней мальчик, за мальчиком я. Состояние было – не передать. Воспитательница почти сразу угадала, куда надо зайти.

Крохотная пристройка, еще одна дверь в комнату, несколько ступенек вниз. Комната небольшая. Потолок низкий. Под потолком лампочка с розовым абажуром. Посреди комнаты стол. За столом несколько человек – мужчин и женщин. Возможно, они ужинали или сидели компанией. Было сыро, накурено и душно.

Воспитательница поздоровалась, взяла мальчика за плечо и подтолкнула вперед: вот ваш сын.

Я притих у нее за спиной, боясь даже вздохнуть, чтобы не выдать себя. И почти тотчас мы вышли.

На улице стояли густые сумерки. Шел дождь. Небо как будто оплакивало нас: того мальчика и меня.

Как и на каком пароходе мы плыли до Томска, я не запомнил.

К Томску подплывали в темноте.

– Томск!

— Подплываем!

— Томск! Томск!

Я посмотрел в иллюминатор.

В это самое время страшной силы гром упал откуда-то сверху и небывало яркая молния осветила чудовищные столбы, стоящие на обрыве крутого берега и упирающиеся в небо (потом я узнал, что это элеватор «Томских мельниц»).

Удары следовали один за другим. Молнии то и дело разрывали темноту, выхватывая из нее то какие-то строения, то деревья, ослепляли, и потом опять все погружалось в тяжелую неизвестность.

Мы сошли с парохода и забежали в здание речного вокзала под проливным дождем. Где-то на лавочке с узелком под головой я уснул.

Рано утром воспитательница меня разбудила. Мы вышли на улицу. Боже мой! Как чудесно начинался день. Небо было чистое и ясное, ни облачка. Пели птицы. На тополях листва была недвижной, удивительно нежно-зеленого цвета. Асфальт был мокрым, чистым, сияющим. Мы прошли небольшой скверик и вышли на улицу. Воспитательница уверенно свернула направо и пошла серединой. Я поспевал за ней, оглядываясь по сторонам. Все занимало мое внимание. Все вызывало восхищение.

«Вот, — думал я, — сейчас распахнется это окно (самое-самое), в нем покажутся мама и сестренки и скажут: «Здравствуй, Коля, мы тебя так долго ждали». И всем будет хорошо, и все будут счастливы».

Но мы проходили этот дом, потом другой, потом еще и еще. К окраине дома стали поскромней, а то и вовсе неказистые. «Ничего, — подбадривал я себя, — и в таких можно жить». Потом шли вверх по трамвайной линии, которую я принял за железную дорогу.

Вот дошли до улицы Учебной. Стали искать дом за номером 31. Еле нашли, ибо это было женское общежитие завода «Фрезер», или ТИЗа, или завода режущих инструментов — длинное двухэтажное здание, отштукатуренное и побеленное снаружи, 31-й корпус.

Мое сердце упало. Но все-таки это было не то, что я видел в Каргаске.

После я узнал, что когда-то здесь размещалась конюшня Томского артиллерийского училища (пушки перевозились конной тягой до войны, во время войны и какое-то время после войны).

Надстроили второй этаж, из каждого стойла сделали комнаты, и получилось общежитие для одиночных работниц завода. Завод «Фрезер» был вывезен во время войны из Москвы в Томск.

Зашли в длинный узкий коридор. Нашли нужную комнату. Постучали. Нам крикнули: «Войдите!» Мы вошли.

Квадратная комната с небольшим окном. Вдоль стен кровати. Возле окна стол. На окне цветы. Я стоял сзади воспитательницы, около двери, надеясь, что, может быть, мы ошиблись, и нам надо в другое место.

Воспитательница спросила женщину: вы «такая-то» и «такая-то»?

Женщина ответила: «Да!»

— Я вам привезла вашего сына, — воспитательница оглянулась на меня и посторонилась.

Я заплакал.

Женщина начала вставать.

На другой кровати, справа у стены, две девочки с любопытством выглядывали из-под одеяла.

Другие две кровати, слева, были заправлены, они принадлежали другим жильцам.

Плакал я и от обиды, и от жалости, и от разочарования, что не осуществилось то, о чем я так мечтал в далекой теперь Усть-Чижапке, что моя мама обыкновенная, что буду жить в этой тесной и крохотной комнатушке, а не в прекрасном и просторном доме, и... просто так.

Воспитательница сказала, что она еще зайдет, и ушла. Правда, на следующий день она зашла, но только на минутку, взглянуть.

* * *

В детдоме я учился неплохо. Был ударником, то есть четверочником. Особо давался русский язык, легко запоминал стихи, отрывки прозы, любил писать изложения и диктанты.

Обычные оценки по ним были от 1/0 или 0/1 до 2/3 или 3/2, и общая оценка ставилась от 5- до 4-.

Учителя наши были замечательными людьми и прекрасными преподавателями. После окончания четвертого класса и сдачи первых в жизни экзаменов

меня увезли в Томск к маме в сопровождении воспитательницы, которая уезжала в отпуск в Красноярск.

Мама в свое время, еще при царе, окончила два класса церковно-приходской школы, но довольно спокойно решала задачи даже за седьмой класс средней школы 50-х годов 20-го столетия, особо когда речь шла о двух бассейнах, двух поездах или двух землекопах. Много читала.

После работы (она работала уборщицей в женском общежитии, что при заводе ТИЗ – Томский инструментальный завод) часто сидела с книгой.

А я привез с собой из детского дома такие слова, как:

пшли – пошли,
гли – гляди,
гри – говори,
кунды – куда,
тунды – туда,
гачи – штанины,
ребя – ребята.

И многие другие, которые моих сестер смешили.
А сколько забыл.

Забыл и прозвища ребят, а ведь у каждого они были, были прозвища и у воспитательниц и учителей.

Осталось доброе, светлое, благодарное воспоминание. Когда я произносил свои детдомовские сло-вочки, мама меня всегда поправляла:

— Вот ты и в школе будешь писать так, как говоришь.

И хотя в моем табеле за четвертый класс были четверки и пятерки, после записи меня в пятый класс 8-й мужской средней школы (тогда обучение было раздельное), мама договорилась, чтобы я походил на занятия вместе с теми, кто остался «на осень».

Когда пришла эта пора, то я сходил всего на два занятия, а на третьем учительница сказала:

— Мальчик, тебе приходить больше не надо.

Это я говорю не в похвалу себе самому, а как знак благодарности учителям Усть-Чижапской семилетней школы и воспитателям Усть-Чижапского детского дома.

Оставшиеся до школы дни проводил вместе с ребятами из соседнего двора, с которыми немного подружился, на реке Томи, под берегом Лагерного сада, где мы купались, загорали, ловили пескарей и гальянчиков.

Как жаль, что давно нет в Усть-Чижапке ни здания школы-красавицы, ни корпусов детского дома, ни колхоза, ни сельского совета, ни почты, ни пекарни... и людей там осталось совсем ничего, а которые и есть — все больше приезжие. Вот так по воле кого-то, находящегося в его прекрасном далеке, решилась судьба множества людей и целого селения. А поля, созданные неимоверным трудом, в основном женскими руками, зарастают или уже заросли травой и лесом. Но кто знает, может, опять будут там и первая,

и вторая, и третья корчевки, где будут колоситься и рожь, и ячмень, и овес, расти горох и голубеть лен.

Все повторимо.

* * *

В нашей комнатке-стойле размером четыре на четыре метра кроме нас еще жили тетя Вера и тетя Нюра. Обе они работали на заводе уборщицами в цехах. Кровать и тумбочка тети Веры стояли слева, сразу же при входе. Спинка ее кровати упиралась в спинку кровати тети Нюры. У тети Нюры тоже были кровать и тумбочка, отделенная от нашего стола табуреткой.

Наш стол стоял возле окна, а под окном находилась паровая батарея — толстая труба с ребрами. Далее, за столом стояла еще одна табуретка и в углу этажерка для книг. К этажерке примыкала спинка первой нашей кровати, а к ней под прямым углом — вторая, спинка которой находилась возле двери. Тут же над койкой висела тарелка репродуктора.

Посередине комнаты, как раз под лампочкой, было кой-какое свободное пространство, но оно было небольшое, и каждый из жильцов, входя в комнату, проходил к своей кровати и на нее садился, чтобы не мешать другим.

И получалось нас к тому времени шесть человек на шестнадцати квадратных метрах.

Каждую зиму в период учебного года к нам приходила комиссия из какого-нибудь ОНО (отдел на-

родного образования) районо, горено, возможно, и облоно для проверки жилищных условий учеников.

Ведь по сути дела в этой комнатке жили три семьи, и в одной из них было три ученика средней школы: я и две моих сестры – Аня и Вера. А еще брат Илья, который на следующий год должен был вернуться из армии.

Особо мне запомнилась одна комиссия. Эта комиссия состояла из двух мужчин возрастом чуть больше сорока и одной дамы, не очень молодой, но приятно одетой и очень ухоженной.

Кажется, ну чего ее замерять эту комнатку, стойло и есть стойло – 4 на 4, но ленту размотали, и я полез под кровать.

Первый замер даме чем-то не понравился, и она сказала: «Мальчик, держи покрепче». Я перебрал ленту в руках, чтобы она не вырывалась и придавил ее к стене.

– О, четыре ноль два! – воскликнула дама радостно, как будто она только что сделала важное открытие, – вот видите, четыре ноль два.

Затем они заполнили акт обследования и ушли, вполне довольные от сознания успешно выполненного долга.

Но наше стойло от всех этих посещений нисколько просторней не становилось.

* * *

Фамилия тети Веры была Каченовская.
Она была ленинградка.

Может быть ее родители были из тех самых Каченовских, которые знали Пушкина, а, возможно, и встречались с ним (у него эта фамилия где-то встречается).

В девичестве своем она, по всей видимости, воспитывалась в Институте благородных девиц, откуда же она так хорошо могла знать немецкий язык.

Иногда на нее что-то находило и она, хитро прищуривая глазки, уже совсем бесцветные, спрашивала что-то по-немецки у Ани, которая училась в старших классах и учila этот язык. И когда Аня пробовала ей что-то ответить, она ее поправляла, подсказывала с этакой хитрецой и улыбочкой классной дамы.

А вообще-то она была тихая, неразговорчивая и далеко-далеко не молодая. Постоянно была в косынке бело-серого цвета. Из-под которой свисали редкие пучки седых волос.

Когда ей надо было сходить в магазин, она говорила: «Пойду в магазею».

Отсюда, видать, и та древняя загадочная Мангазея, над названием которой так долго бьются наши ученики.

А тетя Нюра была почти ровесница или даже помоложе нашей мамы, молчаливая и угрюмая женщина. Она постоянно стращала нашу маму, как будто наша мама была виновата в том, что ее сын – ровес-

ник моего брата Ильи, был вором, а Илья уже самостоятельно работал на заводе жестянщиком.

Их почти в один день забрали, только Илью в армию, а сына тети Нюры в тюрьму, где его немного погодя и убили.

* * *

Летними погожими вечерами возле общежития устраивались танцы. Выносили два стула. На один ставили патефон, потом его сменила радиола, на другой – стопку пластинок.

Танцевали преимущественно молодые жилички общежития, друг с другом, ведь ребят-то их возраста было мало. Взрослые или сидели на скамейке возле крыльца, или стояли, прислонившись к стене. Только при густых сумерках уже перед самым окончанием танцев и они решались присоединиться к танцующим.

Да еще мы, ребяташики, мешались между парами, играя в догоняшки.

Случалось, что на звуки радиолы в ограду заходили чеченцы. Они работали на кирзаводе (почтовом ящике), то есть зоне, где делали кирпичи, но были расконвоированы. Ходили они по трое-четверо, а то и более человек. Они лезли к нашим девушкам, но те их боялись и наотрез отказывались идти с ними танцевать, тогда они хватали какую-нибудь из них и силой тащили за клуб.

Когда на танцах были и наши заводские ребята, в таких случаях начиналась драка.

Приезжала милиция. Ребят сажали в «воронок» и увозили, а чеченцев не трогали, несмотря на то, что женщины пробовали объяснить милиционерам, что драку затевали именно они, а не заводские.

P.S.

В то время на заводах, мало-мальски значимых, кроме директора был еще и военный представитель, обладавший властью нисколько не меньшей, чем сам директор. Звания он был, как обычно, подполковник, не ниже. По национальности – или грузин, зачастую, или армянин, или азербайджанец, или кто-то другой, но обязательно нерусский.

P.S.S.

И теперь, когда говорят, как это Советский Союз – великая держава, где все народы жили единой дружной семьей, вдруг развалился, я вспоминаю наш тридцать первый корпус, женское общежитие, где мама работала уборщицей, и эти танцы под радиолу.

* * *

Мама убирала нижний этаж, проходной, и потому самый грязный. Еще с другой уборщицей, которая убирала верхний этаж, в свою очередь дежурила по кухне.

На нижнем этаже, в большинстве, жили матери-одиночки, а на втором – бездетные и совсем молодые работницы завода.

Они часто заходили в нашу комнату попросить у мамы то соли, то луку, то хлеба, то масла, то муки, то сковородку. Сковородку просили особенно часто. Была она глубокая, чугунная, с выщербленным краем, хорошая, в ней ничего не пригорало.

Когда мама была дома, она сама давала то, что просили или говорила нам – мне и сестрам. А когда ее не было, мы на свое усмотрение давали, что могли и сколько могли.

Заходили они к нам и просто попросить маму связать кружево на подушки и на покрывала, заодно и поведать ей о своем житье-бытье, о сердечных тайнах.

Конечно, в таких делах мама ничем им помочь не могла, и они это знали, но могла выслушать, повздыхать и посочувствовать.

Иногда после получки и аванса, к нам стучались и рабочие завода попросить стакан и кусочек хлеба. Потом, по преимуществу, стакан возвращался с пустой бутылкой впридачу, которую можно было сдать в приемном пункте и выручить какие-то деньги...

Однажды после того, как со мной случилось то, что случилось, в Томске, у третьей целительницы я познакомился с женщиной, у которой не ладилось в семье, разговорились. Она мне поведала о своих проблемах, я – о своих. Ее с двумя детьми-старшими-классниками оставил муж. Мало того, требует разменять небольшую двухкомнатную «хрущобу». Я рассказал о работе, о порче, о гипнозе, о детском доме,

об этом общежитии и о том, что ни у кого из нашей семьи жизнь, в общем-то, не сложилась.

На все это мое повествование, она сказала просто и убедительно: «Вот так вы и раздали свое счастье».

Возможно.

* * *

В общежитии на первом этаже в конце коридора справа была кухня, разделенная легкой перегородкой, за которой стоял стол для гладкеня белья. На самой кухне, почти на ее середине, размещалась плита невероятных размеров (таких плит я больше нигде не встречал, за исключением разве что армии, когда приходилось бывать в нарядах на кухне). Топили плиту углем, а разжигали дровами.

Рядом с плитой, сбоку, у стены стояла раковина, была подведена вода, холодная, но стока под раковиной не было, под ней стояли большие ведра и по мере их наполнения они менялись и выносились.

Во время дежурства моей мамы мне приходилось основательно эту плиту вычищать от накопившейся золы, потому что она набивалась возле трубы, и плита плохо горела и начинала дымить.

В нее я залезал почти что с ногами, несмотря на то, что в руках моих была еще и длинная кочерга.

Золу и ведра из-под раковины я старался выносить в такое время, чтобы не столкнуться с ребятами, а тем более девчонками, идущими в клуб на киносеанс.

Я выглядывал из входных дверей и смотрел, не идет ли кто, и скорей-скорей проносил ведра через оградку к отведенному месту. А оттуда, уже с пустыми, бегом-бегом.

Стыдился.

* * *

На втором этаже в маленькой комнатке жил Кузьма Иванович. В молодости, видать, это был довольно представительный мужчина. Высокий, шевелюристый.

Когда-то он служил у красных и даже дослужился до какого-то чина, но из любви к питию начал слепнуть и в конце концов ослеп окончательно. Огромные навыкate его глаза были подернуты какой-то серо-белой пеленой, через которую едва просматривались пятнышки зрачков. Он поседел, одряб, щеки обвисли.

Он приходил к нам обычно в полдень, когда у мамы был как бы перерыв – коридор убран и на кухне готовящих совсем немного (смены на заводе начинались в восемь утра, в четыре вечера и в двенадцать ночи), при этом он говорил: «Я, Софья Августовна, сегодня дельдюкнул немножко, ты на меня не сердись». (Дельдюкнул у него означало – выпил.) Мама говорила, что она на него не сердится и приглашала к столу. А я в этот момент старался из комнаты улизнуть, чтобы он не послал меня за чем-нибудь в магазин.

Все же, не скажу что часто, через маму, мне приходилось выполнять его просьбы: сходить за молоком, хлебом, кефиром и так, по мелочи, но – главное – сводить его в баню. Были на заводе такие «прожарочные дни», мужские и женские, когда пускали помыться и тех, кто непосредственно на заводе не работал, притом бесплатно.

На улице Кузьма Иванович ходил с палочкой, ориентируясь по забору, а в общежитии – придерживаясь рукой стены коридора.

Встречаясь с ним в коридоре, я прижимался к стене так, чтобы случайно он ничем не мог меня задеть, но я всем своим существом ощущал, что он чувствует, что кто-то перед ним есть, потому что он вдруг настораживался и даже на какое-то время переставал идти.

И как только его рука оказывалась над моей головой, я соскакивал и бегом устремлялся к выходу.

Как-то Кузьма Иванович набрался решимости и посватался к нашей маме. Мама сказала нам.

Ни сестры, ни я решение Кузьмы Ивановича не одобрили, но он все равно продолжал к нам приходить. И однажды при мне сказал маме, что если Николай станет отличником, он сделает все, чтобы достать мне путевку в пионерский лагерь «Артек», не глядя на то, что я не пионер.

Отличником я не стал. В моих тогдашних условиях стать отличником не смогли бы и другие, даже при заманчивой перспективе побывать на

море в «Артеке», что в то время было почти немыслимо.

... Когда из работающих на заводе кто-то умирал, его (или ее) в последний путь провожали от нашего корпуса. Вечером возле корпуса начинали сколачивать небольшую трибуну. На следующий день, к полудню, привозили виновника в его гробу. Ставили этот гроб на вынесенные табуретки и все, кому было поручено, поднимались на трибуну по очереди и говорили об ушедшем (или ушедшей) товарище (или подруге). В заключение слово предоставляли и Кузьме Ивановичу. Ему помогали подняться на трибуну. Он брался руками за перила и, глядя незрячими глазами в невидимое им пространство, начинал говорить..

После двух-трех предложений по существу он забывал, о чем его просили сказать, и все более и более распаляясь, нес невесть что.

Женщины, прежде стоявшие в строгом молчании, начинали всхлипывать и неудержимо плакать и, видать, не столько о том (или о той), с кем прощались, сколько от жалости к Кузьме Ивановичу.

И чем дальше он говорил, тем горше был плач наших сердобольных женщин, что ответственные за погребение старались в этот момент побыстрей свести его с трибуны.

* * *

Весна. Первые числа марта. В школе окончились занятия дневной смены. Иду домой. У двери нашего корпуса полно народа. Многие плачут. Умер Сталин.

Из репродуктора, закрепленного на стене клуба, звучит траурная музыка. Протяжные заводские гудки усиливают тревогу.

– Что теперь с нами будет?

– Как жить дальше?

* * *

Как анекдот.

Зима. В городском парке играет мальчик. И все хорошо. Но тут ему неудержимо захотелось... пописать.

В укромном уголке, на снегу, как на чистом тетрадном листочке, он вывел – Сталин.

Какой-то «бдительный» человек увидел и сообщил.

Мальчика посадили

* * *

Был конец мая.

В школе закончились экзамены, выданы табеля успеваемости с отметкой о переводе в следующий класс.

Погода стояла теплая, солнечная. В радостном настроении забежал я домой в 31-й корпус в нашу 14-ю комнату положить табель и пойти к ребятам в ограду через дорогу.

В комнате никого не было. Я подошел к окну, отдернул занавески и распахнул ставни. Только я облокотился о подоконник, чтобы выглянуть во двор, как удивительный голос, молодой, чистый, девически нежный, запел прямо надо мной:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.
На нем защитна гимнастерка,
Она меня с ума сведет.*

Я замер, я боялся пошевелиться, я был словно зачарован мелодией, словами, голосом.

Я и прежде слышал эту песню несколько раз из репродуктора, но сегодня, в такой день, когда почти лето, в школе сданы экзамены и тебе скоро 14 лет, и такая погода, и ты один.

И все это так неожиданно, что от неясного чувства, охватившего меня, невольно сжалось сердце, и слезы набежали на глаза.

*На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?*

Продолжалась песня, трогая и волнуя мою душу.

Еще не прошло и десяти лет после окончания войны. Еще на улицах часто можно было встретить

искалеченных войной, в том числе и молодых ребят, потерявших всякую надежду иметь семью, детей. Может быть, кто-то из них судьбой был предназначен именно этой девушке, поющей невыразимо трогательную песню, как песню заклинание, как песню-плач по уже невозможному.

Кто ее автор? Нет у нее автора. Автор – народ. Она и могла родиться только в среде народа. Ее исполняли нечасто, чтобы не волновать, не будоражить, не бередить потихоньку заживающие раны войны.

*Зачем когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой?
Зачем он в наши колхоз приехал?
Зачем нарушил мой покой?*

С последними словами песни мне живо представилось, будто это я сам спускаюсь с горочки, на мне новая форма, на плечах золотые погоны, а на груди боевой орден.

Я молодой, сильный. Девчонки смотрят на меня, улыбаются, хотят понравиться. Но у меня на примете только одна, она самая красивая, самая ладная, самая-самая, никто с ней не сравнится и мое сердце принадлежит ей..

А она? Она та и есть, что поет эту песню. Только я пока не подаю вида, что она мне нравится, не решаясь подойти и начать разговор. Но знаю, что все будет хорошо, что мы будем счастливы. Только вот надо решиться. Ну, если не сегодня, то завтра обязательно.

И я машу ей рукой, нет, не на прощанье, а на встречу, счастливую...

Я услышал, как певунья спрыгнула с подоконника, наверно, зашла одна из ее соседок по комнате, и тихо, чтобы не выдать себя, что подслушивал, пошел к двери.

* * *

Наши (Советский Союз) запустили в космос искусственный спутник Земли. Было всеобщее народное ликовение. Объявляли по радио и писали в газетах над какими территориями он будет пролетать и во сколько часов его можно будет увидеть.

Мы выходили из общежития и подолгу вглядывались в темное небо, стараясь первыми заметить среди светящихся звездочек нашу, советскую. И тот, кто замечал ее первым, радостно кричал, показывая рукой: Вон она! Вон! Вон!

Мы с замиранием сердца устремляли глаза в том направлении, в каком показывала рука счастливца, находили ее и стояли, следя ее полет, пока она становилась неразличимой среди множества других.

С моим школьным товарищем мы даже написали песенку об этом спутнике на мотив «Крутится, вертится шар голубой...»

*Крутится, вертится спутник стальной.
Крутится, вертится вместе с луной.
Крутится, вертится, хочет узнатъ –
Можно народули там проживатъ?*

В песенке упоминалось и об американцах, которые в то время замахивались ни много ни мало как на Луну.

Всего куплета, посвященного им, я запамятали, но концовка его была приблизительно такая:

*Лучше им надо бы спутник создать,
А потом о луне уж мечтать.*

Эту песенку мы тайно намеревались исполнить на каком-нибудь школьном вечере.

Но... не исполнили.

Потому что американцы вскоре запустили свой искусственный спутник, и наша песенка стала неактуальной.

* * *

Сданы экзамены за седьмой класс, и на малом семейном совете (мама и сестра Наташа) решили, что мне поступать в техникум не надо, а лучше окончить школу, отслужить в армии, как все мужчины нашей семьи, и уж потом сразу в институт, чтобы хоть у одного из всех было высшее образование.

На том и остановились. И я пошел в восьмой класс.

* * *

К середине лета по окончании седьмого класса из нашей комнатки почти одновременно ушли и тетя Вера, и тетя Нюра.

Тетю Веру заводское начальство определило в дом престарелых (после, один раз, в городе, я ее встретил, поздоровался, но она не ответила. Было видно, какая она одинокая и заброшенная).

Мне было ее очень жаль.

А тетя Нюра ушла в няни в нашем же корпусе через коридор к женщине, у которой был сын-первоклассник.

Уголок тети Веры определили под бочонок для квашеной капусты и вешалку. А уголок тети Нюры отводился мне.

Я притащил из комнатки для глажки белья деревянный диван и тумбочку.

Ну, вот, теперь и у меня есть свой угол, свое место для занятий.

Еще бы настольную лампу, и все будет прекрасно.

Но ликовал я недолго.

Едва я начал привыкать к своим владениям, как однажды, к вечеру прихожу домой, а на моем месте уже живут молодожены (она из соседней комнаты, а он из мужского рабочего общежития завода).

Как я тогда пожалел и о нашем детском доме, и о том, что не поступил в техникум.

Жили они у нас три года, а подселяли-то их всего на три месяца, до осени, до начала учебного года.

К девятому классу у них родилась девочка, и наша жилплощадь уменьшилась сразу же на детскую крохотку и на все, что с этим связано.

Часто они просили меня за ней присмотреть, и волей-неволей мне приходилось за ней присматривать, благо она была не такой уросливой, хотя меня ой как тянуло куда-нибудь на улицу из этого невозможного жилища. В нем даже форточку открыть боялись, чтобы не вызвать сквозняка и случайно не застудить эту крошку.

К десятому классу к ним приехала сестра жены молодожена поступать в институт и не поступила.

Они помогли ей устроиться на завод.

Она жила в нашей комнатке.

Мы спали с ней на полу почти рядышком, чуть ли не в обнимку. И было нас тогда на шестнадцати квадратных метрах ровно две семьи по четыре человека в каждой, то есть восемь человек... Всего-то!

Уроки я делал на пожарном ящике в конце коридора, где было сумрачно, сыро и неуютно от сквозняков.

Все-таки экзамены я сдал нормально. А физику так вообще на отлично, лучше всех. Физичка даже похвалила.

Боялся литературы. Удалось списать со шпаргалки не то образ Татьяны из «Евгения Онегина», не то образ Катерины как «Светлый луч в темном царстве» из «Грозы» Островского.

На выпускной не пошел. Надо было сдать 25 рублей (тех еще, советских, пятидесятых годов), а их у нас не нашлось. Притворился больным – что идти на чужое.

Сейчас думаю, что все-таки надо было гордыню свою смирить и пойти и, глядишь, жизнь сложилась бы не так, как сложилась.

Там договорились бы вместе куда-нибудь поступать – и поступили бы, ведь школьные знания были еще совсем свежие.

И хотя за время службы в армии из моей головы много кой-чего выветрилось, но все-таки поступил в Томский политехнический на геологоразведочный факультет (тогда геология была в почете и геологов уважали), и нас, абитуры, было восемь человек на одно место.

Я и сейчас помню:

*Ты уехала в знойные степи.
Яшел на разведку в тайгу.
Над тобою лишь солнце палящее светит.
Надо мною лишь сосны в снегу.*

*А путь и далек, и долг,
И нельзя повернуть назад.
Крепись, геолог. Держись, геолог.
Ты солнцу и ветру брат...*

Это было что-то необычное, возвышенное, если хотите, рыцарское.

А в общем-то на выпускной мне не в чем было идти.

По воскресеньям на ночь мама стирала мою единственную одежду — лыжный костюм коричневатого цвета с наружным начесом, развешивала его на кухне возле плиты, а утром я опять его надевал.

Если бы мне пришлось все начать с начала, пусть со школьных лет, я бы постарался быть более осмотрительным, более практичным, и жаль, что изменить-то ничего нельзя.

Ну, что ж... может быть, в этом-то и есть смысл самой жизни.

* * *

Принесли повестку: явиться в вонкомат. Явился. Прошел медкомиссию. Спросили, где бы хотел служить. Сказал — в авиации, желательно морской (из-за формы). Мне пообещали: Жди.

Стал ждать.

Прошел месяц и другой — повестки нет. Что делать?

Пошел устраиваться на завод.

Приняли разнорабочим на стройку (кирпичи подносить, делать раствор, копать канавы для прокладки труб, кабеля и прочего).

Повестку принесли зимой, внезапно, явиться завтра такого-то числа на пункт сбора с кружкой, ложкой (и всем таким) для отправки.

Утром пораньше, чтобы не опоздать, ушел в Ки-

ровский районный военкомат с настроением: пусть отправят хоть куда, лишь бы отправили, надоело это подвешенное состояние.

Народу собралось множество, больше половины провожающие. Я стал искать кого-нибудь из знакомых, никого не нашел. И когда начали выкрикивать имена на построение, ко мне протиснулась сестра Вера и передала бумажный кулек с пряниками. Они мне потом очень здорово помогли. Многие ребята ехали с деньгами. Они бегали на остановках в вокзалы и там покупали себе еду и кое-что еще.

У меня же не было ни копейки (на стройке таким, как я, платили до обидного мало).

Я занял самую верхнюю боковую полку и там лежал всю дорогу до первой пересылки – Ачинска, съедая по три пряника в день: утром, в обед и вечером.

И хотя в пути нас кормили по расписанию, есть хотелось просто не знаю как.

* * *

На Камчатку я плыл из Владивостока на большом, красивом, как бы воздушном пассажирском океаническом лайнере «Советский Союз», бывшем немецком корабле «Адольф Гитлер», принадлежавшем самому фюреру.

Во время войны он был потоплен. Его подняли, отремонтировали, даже нарастили на десяток другой метров, и он стал ходить между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским.

Когда мы проходили между Сахалином и Японией (пролив Лаперуз), нас облетал бомбардировщик ВВС США Б-29 «Летающая крепость» (наш, скопированный с него, ТУ-4). Самолет летал так низко над водой и так близко от корабля, что, казалось, или он вот-вот зароется в воду, или таранит «Советский Союз».

Мы, солдатики, после окончания ШМАСа (школы младших авиационных специалистов), плывущие на Камчатку для прохождения службы, все маленькие, все зелененькие, как кузнечики, высыпали на прогулочную палубу, нарушая все запреты офицеров, сопровождавших нас, и смотрим как куражатся американские летчики.

Порой они пролетали вдоль нашего борта почти, как нам казалось, на расстоянии вытянутой руки, что хорошо были видны их смеющиеся физиономии.

Погода стояла осенняя, ветреная.

Воздух был перенасыщен водяной пылью.

Нас покачивало.

При выходе в открытой океан самолет отстал.

Говорили, что, мол, открыли люки, показали ракеты, и летчики поняли, что шутить не стоит.

Потом, через много лет, случайно, я узнал, что «Советский Союз» затонул возле Камчатки при выходе из Авачинской бухты в 1971 году. Жертв не было. Причина потопления не установлена. Попал он в бездонную трещину.

Может быть, своей гибелью он предрешил и судьбу приемного родителя своего – СССР (Союза Советских Социалистических Республик), развалившегося через двадцать лет в 1991 году.

Мир их праху.

* * *

На Камчатке нас определили в полк истребительной авиации. Наш полк был сформирован на базе эскадрильи самолетов МиГ-15, выведенной из Северной Кореи в 50-х годах после окончания у них войны между Севером и Югом. Многие летчики нашей второй эскадрильи там воевали, были и совсем молодые лейтенанты после училища.

Техники же все до одного прошли еще и Великую Отечественную войну, все они были «старлеями», то есть старшими лейтенантами. Среди них постоянно шел разговор о предстоящем сокращении армии (хрущевское), и что их это коснется в первую очередь.

Они договаривались после увольнения поехать на Украину, там тепло, сады и все такое.

После полетов, когда до окончания летного дня оставалось еще достаточно времени, эскадрилья почти в полном составе собиралась в ... сейчас точно не помню, как это называлось, назовем балком – уже по буровской привычке. Это был деревянный щитовой контейнер, в таких контейнерах перевозят самолеты (МиГи) с отсоединенными консолями

(крыльями) и стабилизатором, и потом на месте назначения их собирают.

Было небольшое окошко. Стояла печка. Летом туда заходили редко, только в непогоду. Но весной, осенью и особенно зимой – да. Все предполетное и послеполетное время проводили там. Затапливали печурку, благо отстоя было достаточно (после заправки самолетов из их топливных баков техники сливали баночку-другую керосина на предмет определения в нем воды, что недопустимо), хватало и ветоши.

Балок согревался. Все оживлялись, и начинались разговоры.

Прежде всего шел разбор полетов на уровне эскадрильи, незаметно переходящий на житейские дела. Иногда вспоминались и бои в Корее.

Я никогда не думал, что мне придется как-то написать об этом, а то бы постарался побольше и по-точнее запомнить. Пишу только то, что осталось в памяти.

– Сначала нам здорово доставалось. На их самолетах – «Кобрах» и «Супер-Сейбрах» уже тогда стояли автоответчики – «свой – чужой», а у нас их еще не было. Им встретится самолет, они уже знают, свой это или чужой. Мы же пока разберемся, глядишь – закувыркался к земле.

И только когда сбили одного да другого американца, распознали, в чем секрет, поставили и на наших МиГах автоответчики, – тут повеселело.

А тормозные щитки. Находятся они в конце самолета по краям фюзеляжа, при их открытии происходит резкое гашение скорости. Хорошая вещь в бою. Сядешь ему, американцу, на хвост. Ну, все, думаешь, сейчас выберу момент, чтобы наверняка. Он жмет на полную, и ты за ним, включаешь форсаж, еще чуть-чуть и он — твой. (Форсаж — это кратковременное дополнительное сжигание топлива за камерой сгорания для резкого увеличения скорости). Не успеешь и подумать, а ты уже впереди, у него на прицеле. И вся-то хитрость — сбросил газ, открыл тормозные щитки и из дичи сам становишься охотником. Этих щитков в начале войны на наших МиГах тоже не было.

К концу же, когда мы переняли многие их новшества, стали на равных — кто кого.

Было чему поучиться у американцев. Было.

Надо признать.

* * *

Раз в месяц, а, может, и чаще, проводились учебные бои.

Что за зрелище было, особенно зимой.

Заберутся на такую высоту, что кажутся маленькими серебряными крестиками, и вот носятся друг за другом. Так разрисуют небо своей инверсионкой, что никакой абстракционист не додумается, а если еще и солнце подкрасит, просто смотришь и любуешься.

А техники подзадоривают один другого:

– Смотри, как мой твоего-то, а!

– Да куда там твоему. Это мой твоего гоняет!

Каждый своим гордился, переживал, желал мягкой посадки.

Это и нам, механикам, передавалось. Было приятно сознавать, что и мы тут тоже что-то значим.

* * *

Это случилось в августе.

Мы, вторая эскадрилья, только что пришли с ужина и каждый занимался своим делом.

Моими занятиями в свободное время были: зимой – лыжи, а летом – футбол. И вот я (один) играю футбольным мячом. Головой, ногами, плечами, коленками.

Погода ясная, безветренная. Небо чистое, только справа за аэродромом покрывает белыми облачками Карякская сопка.

Не знаю почему, но мое внимание привлек самолет Ан-2, который поднялся над Елизово и стал разворачиваться в сторону Авачинской бухты, оставляя солнце с правой стороны.

Едва он взлетел, как на посадку зашел МиГ-17, самолет полка ПВО, наших соседей по аэродрому.

Почему-то ему посадку не дали, и он пошел на второй круг, так делают, когда отрабатывают «взлет – посадку».

– Ребята! Ребята! Смотрите! Смотрите! – видать закричал я таким голосом, что остановились и стали

смотреть туда не только те, кто шел по улице, но стали выбегать и из казармы.

Вот МиГ-17 догоняет Ан-2 и... Ан-2 камнем падает вниз.

МиГ-17 еще летит какое-то время, беспорядочно вращаясь.

От него отделяется точка — летчик катапультировался.

Самолет падает на поле недалеко от речки Авача.

Взрыв.

— Бежим!

Мы бежим сначала к МиГу, напрямую по поселку, по каким-то кустам, по торфянистому рыхлому полю.

Офицеры уже возле воронки.

Из нее виден только компрессор, его корпус, вал, лопатки, остальное все, что за компрессором, разбросало взрывом.

Летчик катапультировался неудачно, когда кабина была в нижнем положении. Он не смог отделиться от катапульты, и она вдавила его в торф.

Потом мы пошли смотреть, что стало с Ан-2. Ан-2 упал во дворе школы. Был поздний вечер, в школе никого не было.

Вместо самолета лежала большая груда металломата.

Взрыва не произошло, наверное, успели выключить зажигание.

Тел членов экипажа уже не было.

Мы немного постояли и пошли в казарму, время было к вечерней поверке. На следующий день узнали, что за штурвалом МиГ-17 был капитан, летчик первого класса. Он выполнял последний полет перед отпуском. Экипаж Ан-2, четыре человека, погибли все, из них борт-радист, солдат срочной службы, вот-вот должен был демобилизоваться.

Авиация, как и искусство, требует жертв.

Так оно и было.

Всегда.

* * *

Не знаю, как нынче, а в шестидесятые годы на Камчатке не было воробьев. По морю им туда добраться и хлопотно, и далеко, а по сухе – труд невероятный: гигантские расстояния, безлюдье, бескоромица, да и опасно.

И ребята (механики) нашей эскадрильи, дембеля, которых мы приплыли сменить, подтрунивали над нами:

– Ничего, салаги, не дрейфте, послужите, мы вам и воробьев пришлем, чтобы не скучали.

– Присылайте, – отшучивались и мы, – если вы тут кукурузу разводите, почему бы нам не попытаться развести воробьев.

Знаменитые хрущевские времена: авиацию – под кувалду, поля – под кукурузу.

Кукуруза, конечно, не созревала, поднималась до колен и уходила под снег.

А вот кувалдой поработать пришлось.

На следующий год, под осень прекратили полеты.

Все ценные приборы и оборудование с самолетов стали снимать и в присутствии каких-то офицеров не нашего полка доводить до непригодности.

Жаль, мы уже вошли во вкус службы, привыкли к своим экипажам: летчикам и техникам, выполняли кой-какие работы по обслуживанию наших МиГарей. Но, устав, служба, солдат не приказывает, а только «беспрекословно и в срок» выполняет приказы.

Техники шептали нам потихоньку, чтобы мы не сильно старались махать кувалдой, особенно по электромоторчикам, насосикам коловратного типа, по часам АЧХО, разъемам, шлангам и трубочкам, что могло им пригодиться на гражданке – дома, в саду, на огороде.

Воробьев же наши дембеля нам так и не прислали, наверно, гражданская жизнь их сразу закрутила, завертела, и им стало не до нас.

Говорили: «Где начинается авиация, там кончается порядок».

Да как сказать.

Вот не отремонтируй по инструкции, к примеру шасси, а недозаправь самолет топливом (керосином), кислородом, и что может случиться?

Порядок был. Муштры не было. Это так.

* * *

Вернулся из своих последних студенческих каникул, теперь уже с дипломом на руках и направлением на работу в трест «Ямалнефтегазгеология».

Встретил в общежитии однокурсника. Ему в Нижневартовск, попросится на Самотлор. Молодец, взял с перспективой. Это я в горячке вызвался на Ямал, к черту на кулички, а нет, чтобы трезво оценить время и обстановку, взвесить все «за» и «против», все «плюсы» и «минусы».

Ну, что ж, три года отдам Родине честно и сполна, а там посмотрим. Ему еще целую неделю можно отдохнуть, а мне – завтра.

Он от нечего делать решил меня проводить. Рейс задерживался по причине непогоды на Севере, и мы часа три позагорали на травке возле здания аэровокзала. Теперь там, поди, не позагорать – все позастроили, огородили, выставили охрану.

Вот (в который раз) позвали на посадку, и мы попрощались.

В Салехард лететь на Ан-24 через Березово.

В Березово дозаправка. Вышли, отошли от самолета на положенное расстояние, мужики закурили.

Я осмотрелся вокруг, где-то здесь должна быть могила Меньшикова Александра Даниловича, сподвижника Петра во всех его делах: великих и совсем наоборот.

В Салехард прилетели вечером, в сумерках. Все показалось каким-то временным, неожитым и

очень даже неуютным.

Песчаное летное поле, песчаная взлетная полоса, небольшой деревянный домик аэровокзала с указателем направления ветра на шесте, и небо какое-то темное и низкое.

Еще я не закрыл за собой дверь, как неожиданно ударили гром, да такой силы, что меня буквально сбросило с порога, и я, споткнувшись, чуть было не растянулся тут же со своим рюкзачком. И пошел лиvenir.

Внутри полутемно. Народу мало. Все одеты просто, почти по-деревенски. А комарья! Их в сумерках не видно, но чувствую по их гуду, писку и укусам.

Мать моя, Родина, куда я попал?!

Если бы у меня были деньги на обратный билет, я бы улетел всенепременно – лучше куда-нибудь побужней, поближе к цивилизации, только не здесь.

И все же от усталости, физической и, пожалуй, духовной, где-то в уголке у чьих-то ног почти дремучим сном проспал я до утра.

Утром до автобуса (ПАЗика) добирались пешком, ибо ливнем дорогу размыло, и на ней образовались глубокие овраги.

В тресте меня встретили без особого энтузиазма, но выдали пятьдесят рублей в счет будущей зарплаты и определили в гостиницу, где я тоже увидел своего сокурсника. Его не допустили до защиты из-за частых пропусков занятий и неявки на предварительную защиту. Теперь до следующего года ему надо по-

работать и сдать отчет, что он находился непосредственно на буровой.

До Нового-Порта предстояло добираться на теплоходе, по воздуху перевозили только непосредственно работников экспедиции.

Естественно, за дни ожидания теплохода (Обская губа была еще во льду) с деньгами я расстался, правда, сообразив, что билет надо приобрести заблаговременно.

* * *

Убрали трап, и теплоход начал отходить от пристани.

Я вышел на прогулочную палубу посмотреть на Салехард со стороны Оби, но не только и не столько посмотреть на Салехард, сколько хоть на какое-то время отвлечься от чувства голода.

На палубе уже находилась небольшая группа пассажиров, и среди них, чуть в сторонке, четверо мужчин, высоких, спортивных и одна молодая особа, ростиком даже чуть ниже меня и весьма привлекательная. Скорей всего они были из Прибалтики, какая-нибудь этнографическая экспедиция.

Они снимали панораму Салехарда на кинокамеру и о чем-то говорили между собой.

Я сделал вид, верней, попытался сделать вид, что я тоже всем доволен, что у меня все хорошо, что я вот такой. А нет-нет, да и посмотрю в их сторону.

Несколько раз мои взгляды встретились со взглядами этой молодой особы, и вот она отходит от своей группы, подходит ко мне и спрашивает: «Шпрехен зи дойч?», то есть: «Вы говорите по-немецки?»

Я же, дурак, от досады, что по-немецки я совсем ни бум-бум, да и по-английски тоже... только на уровне пятого класса что-то там еще соображу, хотя учил его и в школе, и в институте сдавал тысячи; и от того, что хочу есть, а в кармане ни гроша, бухаю ей в ответ, почти не соображая: «Не спикаю», что-то приблизительно – Не говорю (англ.).

Она посмотрела на меня не то извиняюще, не то осуждающе, а, может, так и отошла.

– Идиот, – подумал я о себе, – ни за что, ни про что обидел человека, – что теперь она будет думать о тебе – кретине.

Самому же подойти к ней и извиниться мне не хватило ни мужества, ни решимости.

* * *

В Новом-Порту мне сказали, что экспедиция перебазировалась на Мыс Каменный и мне надо туда.

Я уже забыл, сколько времени я на ногах, а солнце все на небе, и спросил у ребят: «А как вы определяете, когда ночь?»

– Как определяем? Занавешиваем окна и ложимся спать, – услышал я простой ответ.

* * *

На траверзе Нового-Порта (это Обская губа) стоит теплоход, на котором мы вчера приплыли.

Огромная плоскодонная лайба (металлическая лодка) идет к теплоходу за очередной партией груза.

Небо низкое, бесцветное. Солнце неестественно большое, но тепла от него мало.

Со стороны губы на берег дует ветер, нагоняя на него массы воздуха, насыщенного водяной пылью.

Мы стоим на внушительной куче песка, на которой сооружен склад. Он представляет собой металлический каркас, сваренный из труб, к которому прикреплены доски, вертикально – одна над другой.

Ветер и водяная пыль натыкаются на эту преграду, ослабевают и нам не так зябко и, кажется, что солнце все-таки греет.

Справа от нас, на этой же куче песка, стоят прибалты. У них кинокамера. Они снимают как перед нами, ниже нас, у ларька толпятся мужики с ведрами. Там продают разливное вино, что привезли в бочках на нашем теплоходе.

Все стараются взобраться на небольшую деревянную площадку перед окошком ларька.

Кто взобрался, успокаивается, – достанет.

Ожидающие стоят или возле склада, или у ларька, поддерживая своих товарищей.

Одногоaborигена ненца (должно быть всем знакомого) пропустили вперед. Он подал эмали-

рованное ведро и деньги, сколько смог взять из-за пазухи своей малицы, не считая их. Потом, через недолгое время он опять подошел, и мужики опять его пропустили вперед, ведь денег-то он подал много.

Однако, когда он протянул ведро, продавщица так ткнула ему в лицо всей своей пятерней, что он плашмя упал с этой площадки на спину и на какой-то миг тундровая няша (мох, до предела насыщенный водой) сомкнулась над ним.

Потом из этой няши показался фонтанчик, а затем и голова, но на него уже никто не обращал никакого внимания.

Он встал и отошел (наверно, к своим сородичам).

А прибалты стараются, крутят и крутят свою кинокамеру – где им еще такое увидится.

И, наверное, у себя дома, просматривая эту заснятую кинопленку, смеялись от души и дивились нашей дикости.

* * *

Каждый раз, когда я приходил на вертолетную площадку, мест на всех не хватало и, естественно, меня как новичка отправили позже всех, даже после туристов из Прибалтики.

Определили меня в буровую бригаду, пока буррабочим. Тогда экспедиция состояла из двух ходовых бригад (то есть буровиков) и двух бригад по испытанию скважин.

На буровую меня завезли на вертолете Ми-6, на подвеске которого была еще восьмикубовая бочка с дизтопливом. Эту бочку опустили рядом с емкостями ГСМ недалеко от буровой. Немного отлетели от нее, зависли над землей и мне сказали: «Прыгай».

Я глянул вниз. Метра полтора-два, а то и больше. Внизу мох. Могли бы подлететь и поближе к балкам (жилым вагончикам), там повыше, посуще. Ну, что ж. Бросаю спальный мешок, узел со спецовкой и прыгаю сам. То ли вертолетчики пошутили, то ли решили меня окрестить тундрой, но я тотчас по приземлении оказался в болотной жиже по пояс.

Комары, обрадованные моим появлением, воинственно загудели и устремились на меня со всех сторон.

Я стал отбиваться. Моя борьба их нисколько не смущила, наоборот, стала привлекать все новых и новых.

Я посмотрел в сторону дощатого настила, ведущего от балков до буровой так, как, наверное, смотрят утопающие на спасительный берег. Тундра шевелилась от несметных полчищ комаров. Выхода нет, надо двигаться, и я пополз, почти на брюхе. Переставлю спальный мешок, обопрусь на него всем телом, вытащу ногу, а чтобы сапог не потерять, придерживаю его за голенище. Потом переставляю узел с робой. И так попеременке, пока не добрался до настила, а ведь надо было еще и от комаров отмахиваться.

Когда я полз, я старался не глядеть в сторону буро-вой, чтобы случайно не увидеть кого из вахты, поми-рающего надо мной от смеха.

Вроде обошлось. Ничего такого в свой адрес я не услышал. Видать, вахте в то время было не до меня. Мастер посмотрел мое направление и определил на жительство в небольшой четырехместный щитовой балок с окошками по торцам и входом посередине, а на работу выйти со следующего утра, в восемь ча-сов.

Погода стояла ясная, солнечная, дул ветерок. Я разложил все свое промокшее, где было можно; ко-гда подсохло, обстучал и занес в балок.

В четыре часа вечера в балок зашел кто-то из вах-ты, возрастом чуть старше меня, познакомились: он помдизелиста, я помбур, ну вот, пока поживем тут, завтра утром вместе на вахту.

Пошли в столовую. Расплачиваться крестиками. В конце месяца все израсходованное делится на всех по количеству крестиков, у кого сколько. Нормально, пойдет, а то у меня все равно денег нет.

Через день-два стали шататься зубы, не мог даже хлебного мякиша пожевать, чувствовалось, как зу-бы ходят в своих гнездах. Цынга! Пожаловался со-седу.

— Ничего, — сказал он, — попервости и у меня та-кое было. Ты возьми спичку, намотай ватку и в йод; йод в аптечке на полке, мажь десны, пройдет, уви-дишь.

Сколько процедур я проделал, я не считал, а ведь и правда, прошло.

На Ямале я был почти целый год. Уже привык, сработался, приобрел кой-какой опыт, даже подрос от буррабочего до первого помбура. Но...

В то время Ново-Портовскую нефтеразведочную экспедицию курировала Москва. А там считали, что на Ямале промышленных запасов ни нефти, ни газа быть не должно, и поэтому (в целях экономии средств) одну буровую бригаду решили сократить.

Так я обратно был откомандирован в Главтюмень-геологию. Оттуда меня направили в Сургут, в Сургутскую нефтеразведочную экспедицию (СНРЭ).

Иногда я думаю: Зачем это судьба завела меня на Ямал, неужели только для того, чтобы я сложил там вот эти стихи, возможно, не очень плохие:

ЯМАЛ или 1968 год

*В который раз уж вертолет
Меня везет на буровую.
Его качает и трясет,
Как самокат о мостовую.*

*Летим. Нас шестеро ребят.
И, в общем, ничего парнишки.
Вчера чуть-чуть хватили лишику,
А нынче головы болят.*

*Кто сидя пробует уснуть.
Кто в думы погружен.
Кто дремлет.
А я, глаза в стекло уткнув,
Смотрю на небо и на землю.*

*Я мысленно и в будущем, и в прошлом.
А настоящее? Хоть сколько хошь глазей.
Оно раскинулось внизу огромной площадью
На сотни верст без крова и людей.*

*Ямал – окалица страны.
И до сих пор твой сын ямалец
Глазами древней старины
Глядит смущенно из-под малицы.*

*Он для меня, как черт, как леший,
Как две бутылки на троих.
Он знает лишь своих олешек.
Вся радость – в них.
Все горе – в них.*

*Кем станешь ты – ответить трудно,
Иль неизменен жребий твой...
А мы летим. Под нами тундра.
И полчаса до буровой.*

* * *

В стихотворении «Ямал или 1968 год» есть строчка: «как две бутылки на троих».

Откуда она взялась?

В 1965 году в Тюмени открылся Индустриальный институт для подготовки СВОИХ кадров на проведение геолого-разведочного и эксплуатационного бурения на нефть и газ непосредственно в Тюменской области, и наша 252 группа Томского политехнического института (геологоразведочный факультет) почти в полном составе с благословления тогдашнего министра нефтяной и газовой промышленности Шашина перевелась в Тюмень.

Но сначала туда ушла часть наших преподавателей, после сманивших и нас, обещая нам общежитие и стипендию даже с тройками.

А какой студеус, разрешите спросить вас, не польстится на подобное предложение, только самый-самый что ни на есть обеспеченный, каковых в ту пору было не так уж и много (в крайнем случае явных).

Встретили нас довольно приветливо, поселили в общежитие квартирного типа, хрущевскую пятиэтажку.

Вскоре выдали и первую стипендию.

Только вот из геологов нам предстояло стать буровиками, иначе приходилось бы терять целый год (мы согласились).

Конечно, всем сразу же захотелось обмыть «это дело», и мы веселой толпой, одевшись поприличнее,

отправились в ресторан, если не ошибаюсь «Восток». То «пиршество» я описывать не буду, да я и не помню подробности, скажу, что когда мы оставили гостеприимный ресторан и топали по грязной глинистой тропинке через пустырь, где теперь находится кинотеатр «Космос», нас встретили милейшие «добрые молодцы» в погонах и предложили нас подвезти на своем «бобике» с зарешетчеными окнами, но ... в отделение милиции.

В ту пору «демократок», то есть резиновых дубинок, у них на вооружении еще не было, они появятся чуть позже – вместе с приходом в нашу страну самой демократии.

Утром нас вызвали к ректору.

Мы пришли, скромненько остановились в кабинете у самых дверей.

Ректор прочитал нам вступительное слово о нашем, теперь, институте, об огромных перспективах, стоящих перед нами, и что нам как следует надо подумать. И, кажется, все шло к замирению, но почему-то он вдруг спросил: «Так сколько же вы выпили?»

Все молчат и тут я, стоя в первых рядах, четко как боец по команде рапортую: «Две бутылки на троих».

Мне казалось, что это больше будет походить на правду и вызовет у спрашивающего доверие к нам.

– Что-о-о!?! – взревел он и подпрыгнул на стуле, как будто сам не был студентом. – Вон!

Мы попятались.

И хотя ребята явно на меня не сердились, я не находил себе места: дернул же черт за язык.

Потом в группе по этому поводу прошло несколько собраний, пока, наконец, решение собрания ректора не удовлетворило.

Через три года, когда по окончании института я работал на Ямале помбуром в Ново-Портовской нефтеразведочной экспедиции, у меня появилось стихотворение «Ямал или 1968 год». Там эта строчка и нашла свое место:

*..Ямал – околица страны
И до сих пор твой сын ямалец
Глазами древней старины
Глядит смущенно из-под малицы.*

*Он для меня, как черт, как леший,
Как две бутылки на троих.
Он знает лишь своих олешек.
Вся радость в них. Все горе – в них...*

И т.д.

Вот так.

* * *

Был 1969 год.

Снег выпал рано, сразу и уже не таял. Следом пришли морозы, да такие, что по утрам весь Сургут погружался в густой, плотный и белый, как молоко,

туман. Стоило выйти на улицу, как на глаза наплывали слезы и замерзали на ресницах, приходилось их периодически руками оттаивать или отщипывать.

В эти годы в Сургуте насчитывалось чуть более пятнадцати тысяч жителей. На его улицах не было еще ни кусочка бетона, не говоря об асфальте или декоративной плитке. Весь Сургут был деревянным, только в районе НПУ (нефтепромысловое управление), нынешнее НГДУ (нефтегазодобывающее управление) стояло несколько «хрущевок», собранных из бетонных плит, привезенных по Оби из Тюмени.

Мост через речку Сайма, разделяющий город на Старый Сургут и Черный Мыс, был тоже деревянный, построенный, быть может, еще при участии сосланных декабристов. По нему автобусы ПАЗ переезжали без людей. Летом вообще этот мост был только пешеходным, и автобусы, дойдя до Саймы, разворачивались. Пассажиры, перейдя мост, садились на другой стороне в другой автобус, тоже ПАЗ, и ехали дальше по песчаным улицам или в сторону НПУ, или в сторону рыбоконсервного комбината и речного порта.

Остановки были открытыми, никаких торговых пристроек на них не было.

Мне нужно было в сторону рыбокомбината, посмотреть, что там у них в клубе, или просто так, чтобы только не сидеть в общежитии.

Когда я пробирался сквозь туман к остановке, то на середине улицы, она называлась Центральной,

теперь Мелик-Карамова, прямо передо мной, чуть не ударившись в меня, вылетели из тумана и тут же скрылись две белые птицы, похожие на голубей. Я даже вздрогнул от неожиданности.

– Откуда они здесь могли взяться, – подумал я, – и в такие морозы? Потом понял, это же куропатки.

В ту пору на улицах Сургута можно было встретить не только куропаток, но и тетеревов и даже глухарей.

А голуби (в основном сизари) появились в Сургуте вместе с приходом железной дороги.

Остановка называлась «Геолог», так как это был микрорайон геологов Сургутской нефтеразведочной экспедиции (СНРЭ). Там находилось несколько женщин, да вот пришел я.

Через несколько лет рядом с этой остановкой соорудили памятник первым комсомольцам Сургута, погибшим в 20-х годах во время так называемого кулацко-эссеровского мятежа. На памятнике запечатлены слова сургутянина Николая Ездокова:

«Они совершили прометеев подвиг,
Нас вырвав из невежества и тьмы».

Тогда автобусов в Сургуте было мало, наверное, не более десятка, и ходили они редко. Каждый автобус брался штурмом. Потерянные пуговицы и порваные рукава были обычным явлением.

Но никто особо не возмущался, а наоборот, все это воспринималось даже с долей иронии; как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Такси вообще было две-три «Волги». И это на весь Сургут.

Каждый раз в начале лета после первого проливного дождя в Сургуте объявлялись несметные полчища комаров, и для борьбы с ними по улицам ходила специальная машина и распыляла антикомаринную аэрозоль, но все равно, когда долгими и красивыми незакатными вечерами люди выходили погулять, они не могли обойтись без березовых веточек, которыми отмахивались от наседающих комаров. Ближе к осени на смену комарам налетала мошка, и от нее не было никакого спасу.

Теперь, если в городе где и встретится комар, то смотришь на него как на давнишнего, почти забытого друга юности. И все таки... что было замечательного в том старом, еще донефтяном Сургуте, так это то, что он каждую весну утопал в белом кипении черемух. Их аромат проникал всюду. И когда мне приходилось ехать в тесном, переполненном до предела автобусе, я не замечал, чтобы в это время люди были злы и раздражительны.

Вот мы стоим...

Среди всех ожидающих была одна женщина, по всей видимости – ханты, в своей национальной одежде, с платком, повязанным так, что лица ее почти не было видно.

За спиной у ней была большая берестяная торба.

Из этой торбы послышалось какое-то шевеление и писк.

Одна из женщин подошла к ней и спросила:

– Что это там у тебя?

Приподняла крышку и посмотрела. Посмотрела. Посмотрела и ... толкнула ту в плечо:

– У тебя ребенок голый. Ты слышишь. Какая же ты мать! – почти закричала она.

Хантыйка ничего не ответила и осталась стоять как стояла.

Другие женщины тоже стали подходить и приподнимать крышку. И я не удержался, чтобы не заглянуть чрез плечо очередной смотревшей.

В торбе, на дне, были насыпаны мох и мелкие гнилушки, на них на спинке, совсем голый, лежал ребенок, мальчик. Ручки и ножки его были согнуты и прижаты к телу, но что он мерзнет признаков, вроде, не было.

Конечно, малыш «ходил» под себя, гнилушки поглощали влагу и выделяли тепло. А будь он одет, он бы наверняка замерз.

Потом более скромная и догадливая женщина сказала:

– Что вы все смотрите? Застаньте ребенка. Она сама знает.

И этим как бы устыдила остальных.

Еще какое-то время женщины осуждали хантыйку за такое обращение с ребенком.

А как бы они обращались со своими детьми, оказалось на ее месте?

И все-таки это было удивительно и необычно.

* * *

Говорили, что местных аборигенов – ханты – гнус не берет.

Берет, да еще как.

В начале 70-х годов 20-го столетия, летом, в самый разгар, жара стояла неимоверная. К нам на разведочную буровую Лян-Торского месторождения, смонтированную недалеко от устья небольшой речушки, впадающей в Тром-Аган, пришли отец и сын – ханты.

Оба невысокого роста. В простой одежде, на ногах резиновые сапоги. Вахта уже пообедала, только я как бурильщик задержался, пришел в столовую последним.

Они были настолько покусаны гнусом, что на их лицах просто не было живого места.

Нам только что вертолетом завезли продукты, в том числе и помидоры. Повариха решила их употребить. Она дала им по помидорке, и отцу и сыну. Они им очень удивились, а отец-ханты сказал, покачав головой: «О-о-о, такой брусника у нас не растет!»

Дети природы. Мы потом часто их вспоминали.

Повариха выделила им продуктов, а мы налили банку «репудина» – средства от комаров.

У нас редко кто им пользовался, потому что это было равносильно, если мазаться огнем.

«Дэты» тогда еще не было.

* * *

После затяжных, наводящих уныние, осенних дождей, установилась хорошая погода.

Небо чистое.

Воздух свеж и прозрачен.

Работается легко. Комары отошли. Правда, мошка еще донимает и то после обеда, когда пригревает солнце.

Мы стоим на скважине между Сургутом и поселком Русскинские.

Мы – это бригада по испытанию скважин Сургутской нефтегазодобывающей экспедиции.

Наша задача: определить интервалы залегания продуктивных пластов, их нефте-газо-водо-насыщенность, дебет, отобрать пробы. Случалось, что на одной скважине нам надо было испытать и опробовать до 22-х объектов. А это почти каждую вахту или «вира» или «майна» полную подвеску НКТ (насосно-компрессорных труб).

Хорошо, когда у вахты есть возможность «постоять на притоке», то есть никаких «вира-майна» не производить, а только следить за показаниями приборов, спущенных в скважину и фиксирующих состояние продуктивного пласта, давление в нем, температуру и т.д., а также замерять приток пластового флюида – жидкости (нефти, воды или того и другого вместе). Тогда можно не всем, конечно, а кому-то одному на часок-другой сходить на охоту, рыбалку или за клюковой.

Вот такая скважина выдалась нам и здесь. Мы стараемся, быстрей-быстрей, надо хоть какое-то ускорение заработать. Без него получать совсем нечего. Дадут 90 рублей аванса. Повариха наставит крестиков за завтраки, обеды и ужины тоже рублей на 90. Придешь в кабинет за получкой, отстоишь очередь и окажется, что сам еще должен своей кабинете 3 – 5, а то и 10 рублей. Это нас огорчало, но не очень. Ведь мы были молоды, дружны и почти все «болели» романтикой, а романтики этой самой нам тогда хватало на каждого, с лихвой. И что хорошего, так это то, что когда отпускники давали в отдел кадров экспедиции телеграмму: «Вышлите на дорогу сто рублей», им всегда высыпали.

Но... надо шустрить.

Солнце садится далеко-далеко за озерами. Этих озер такое множество, что они представляются одним бескрайним озером, беспорядочно испещренным мелким кустарником и болотным чапыжником. Кажется, если куда пойдешь, то ни за что из этого лабиринта не выйдешь. И мы благоразумно предупреждаем друг друга прежде чем идти за клювой или на охоту, чтобы в случае чего посильней постучали по «ноге» подъемника, для ориентира.

Смеркается.

Последние минуты перед сменой вахты.

Помбур мне говорит, показывая рукой за мою спину:

– Смотри, кто-то идет.

Я оглядываюсь, кто бы это мог быть?
Вроде и вертолет не пролетал, ни проверяющего,
ни из начальников кого не ожидается. И один!
Подходит. Еще совсем молодой парнишка.
– Здравствуйте!
– Здравствуй! Здравствуй! Здорово, коли так!
У нас пересменка.
Мы сдаем вахту и идем переодеваться. Умываемся
и в столовую.
– А ты что? Пошли.
– Не, не хочу, однако.
– Пойдем, пойдем. Найдется что-нибудь.
Повариха говорит, что на лишнего не готовила и,
вообще, надо предупреждать заранее.
Мы говорим, чтобы поделила на одного-то. Она
ворчит, но делит.
После столовой я иду в кульбаку на связь, ребята
в балок – отдохнуть.
Когда я прихожу, они уже легли, но свет горит,
ждут меня. Я гашу свет и занимаю свое место.
Вот сейчас минут десять-пятнадцать поговорим и
незаметно один за другим уснем.
Сегодня поработали как надо, обсуждать, вроде,
ничего, но с нами незнакомый человек, и ребята
спрашивают:
– Ты куда идешь?
– В Сургут иду.
– А откуда?
– Из Русскинских.

- Не ближний путь. Порядком.
Тебя как зовут, если не секрет?
- Петя.
- Петя?
- Ага.
- А что тебе, Петя, в Сургуте? Родные кто?
- Не, повестка пришла.
- Повестка! Куда?
- Да в военкомат пришла.
- И это ты идешь из Русскинских в Сургут в военкомат?
- Иду вот.
- Мы удивляемся.
- А что, они не могли за тобой вертолет прислать или как-то еще?
- Не знаю пока.
- Ну, Петя, ты даешь. Они там с ума посходили, а ты один по болоту.
- Тут на вертолете летишь, летишь, все озера да озера, одно на одном. Пешком и заблудиться недолго.
- Не страшно, если заблудишься?
- Не, не страшно. Я не в городе.
- !!!!
- А ты сам в городе, в Сургуте был?
- Был как-то.
- И что, не понравилось?
- Не, не понравилось.
- Что так?

– Так. Людей много. Никто ничего не знает. Мы какое-то время молчим.

– Скажи, а как по вашему будет, ну например, здравствуйте?

– Питя-питя!

– А медведь?

– Би-би.

– Не боишься медведя, если встретишь? У тебя и ружья нет.

– Не, сегодня не боюсь. Он сам боится. Прячется. Спать готовиться надо.

Ребята спрашивают его еще и еще, но я еле-еле слышу и вопросы и ответы. Засыпаю.

Утром меня разбудил будильник. Я встаю пораньше, чтобы заполнить журнал, принять вахту, проверить исправность оборудования.

Петя уже нет. Ну, думаю, в столовой. Нет его и там.

Спрашиваю у ребят ночной вахты:

– Где Петя, парнишка, что вчера вечером приходил?

– Да он ушел еще затемно.

– Попоили его хоть чайком на дорожку?

– Какой чай! Он не попросил, а нам некогда было. Еще и вам осталось несколько рядов (это об НКТ).

– Ну, давайте.

– Добро.

Сегодня это происходило бы совсем иначе.

И жаль немножко. Ушло что-то от нас. И от геологов-первоходцев, и от тех, по чьей земле эти современные первоходцы идут.

— Всего тебе доброго, Петя.

Все ли сложилось у тебя по-человечески?

Все ли ладно?

Или как?

* * *

В нашей половине балка в углу за моей койкой на паровой трубе из-под кондуктора диаметром 219 мм стояла фляга, в которой настаивалась бражка. Мы ее поставили за пару дней перед тем, как улететь на выходные с расчетом, что когда прилетим, она поспеет.

Зайдет мастер в балок бурильщику задание дать и начинает водить носом: Чем это у вас пахнет?

— Да ничем, Сергей Иванович, робой, наверное.

Она сушилась у нас в этом же балке между двумя ее половинами.

Да еще в мешках под кроватями лежала запасная, на работе всякое бывает, часто ведем СПО (спуско-подъемные операции) с переливом, особенно при отборе керна. Так что иметь на буровой запасную робу не мешает.

Поглядит Сергей Иванович, подозрительно покачает головой и уйдет.

Присматривать за флягой, чтобы она во время нашего отсутствия не взорвалась, поручили ребятам из вахты, которую мы прилетим менять. Ведь на улице зима, мороз, а так цапанешь кружечку-другую — и

уже веселей, и хочется жить, и трудиться, и что-то совершать.

Они же не стали нас дожидаться, а сами принялись снимать пробу. Зайдет помбур в балок, нальет чайник и на буровую, и вроде ничего особенного, чайник как чайник, стоит открыто у пульта бурильщика, пойди угадай что в нем.

И все же однажды мастер заметил, что помбур слишком часто стал ходить в наш балок с чайником. С чего бы это? Ведь мы же на выходном. Если за водой, так надо в столовую. Да и не жарко вроде бы, зима все-таки.

Когда в очередной раз помбур понес чайник на буровую, мастер остановил его:

- Что несешь?
- Воду.
- Ну-ка, дай.

Взял и хотел сделать глоток прямо из носика чайника. От неожиданности поперхнулся: Брага!

Выплюнул, вылил из чайника и пошел в балок. Там перевернул все, что можно было перевернуть и – нашел. На себе, почти полную флягу, вытащил на улицу (куда только девался его радикулит), лично сам завел трактор и раскатал нашу флягу вместе с ее содержимым в лепешку.

Мы прилетели уже на ее похороны.

Потом из-за этой бражки, которую мы даже и не попробовали, мы еще долго не вылезали у Сергея Ивановича из его «черной» тетради.

* * *

«Хоронили» мы нашу флягу по сценарию самого мастера Сергея Ивановича и в его непосредственном присутствии.

В Сургуте на выходных, в нашем общежитии на улице Федорова, 66 организовали ей достойные поминки, ведь она служила нам верой и правдой не один год.

Вот, в прошлом году в конце весны мы ее освободили от всего, что в ней за зиму накопилось, помыли, пропарили, потом еще просушили и перед выходными снова ее наполнили соответствующими ингредиентами. Отнесли в лес, нашли там сухую солнечную полянку и поставили ее на самый солнцепек в надежде, что за время нашего отсутствия она подойдет.

Замечу, что к этому времени нас перед посадкой в вертолет стали проверять на предмет наличия в наших рюкзаках алкоголя.

Если проверяющим был кто-то из ИТР (инженерно-технические работники), он просил бутылки достать, если они были, и передать тем, кто не летел. Если проверял мастер у вахты из своей бригады (особенно наш), то он просто брал рюкзак и с силой ударял его о стенку вагончика, в котором мы коротали время перед отправкой на буровую. После двух-трех таких ударов, если в рюкзаке оказывались бутылки, из него начинало течь, и тогда рюкзакозвращался его хозяину.

И мы своей вахтой решили с собой не возить, а готовить на месте, но... кому было надо, все равно умудрялся пронести.

Прилетаем, идем потихоньку и, когда идущие впереди скрываются из виду, шмыгаем в сторону и идем к нашей полянке. Что там у нас? Открываем. И фляга издала такой звук и обдала нас такой волной, какие, вероятно, издавал в свое время мамонт после обжорства. Когда волна утихла и запах мало-мало ослаб, мы каждый по одной эмалированной четырехсотграммовой кружечке пригубили. Вроде получилась неплохая, но слишком теплая, почти горячая. После этой кружечки невероятно захотелось есть, время как раз было обеденное, и мы пошли в столовую. После обеда до заступления на вахту еще оставалось целых два часа. Прихватываем чайник и – к фляге. Наш поход с чайником в руках увидел с буровой помидзелиста Вовка, по прозвищу Балда. Мы его обнаружили, когда уже начинали пиршествовать. Я помню, что одну кружку я выпил, а по второму кругу – я кружку взял, потянулся к фляге, и ... выпил – не выпил, уже не помню.

Когда мы, готовые к совершению трудовых подвигов, с чайником в руках, возвращались, чтобы заступить на вахту, на полдороге вдруг замечаем, что с нами нет Вовки. Мы оглядываемся. Негодяй. Он спокойненько идет за нами и тащит на себе нашу флягу. Мы к нему: Стой! Куда? Он огибает нас и бегом. Мы за ним. Он легко, как лошак, с флягой на горбу, доска-

кал до буровой и забежал в дизельную. Мы отстали от него на почтенное расстояние.

Ладно... Пристроили ее там в укромном уголке, завалили тряпьем, какое нашлось, заставили железяками.

... И всем из нее было.

* * *

В Сургутский речной порт для нефтеразведочной экспедиции (СНРЭ) пришла баржа, а на ней кроме всевозможного бурового оборудования еще и два ГТТ (гусеничные тяжелые тягачи).

Оборудование разгрузили кранами, а ГТТ надо было согнать на берег своим ходом. За водителем приехали в наше общежитие, что было на улице Федорова, 66, деревянный двухэтажный дом коридорного типа (теперь его там нет).

Стали искать по комнатам. Нашли на втором этаже, в соседней с нашей. Парнишка работал в экспедиции недавно, до этого служил в армии, в танковых частях (потому и приняли), детдомовец.

Ему так не хотелось, ведь он только из тайги, даже толком не отдохнул. Все же уговорили – где другого искать?

Через какое-то время в общежитии все уже знали, что он утонул.

Завел ГТТ и вместо того, чтобы включить переднюю скорость и ехать на берег, он включил заднюю и – в Обь. Так там в ГТТ и остался.

Вызывали водолаза. Он спускался несколько раз, но ничего не нашел, темно, быстрое течение, и пески перекатываются по дну как барханы.

Давно это было, в начале 1970-х годов. Забыл я его имя.

Выпивал он крепко, наверно, чувствовал, что недолго ему быть на этой земле.

Он и теперь где-то там на дне Оби в последнем своем ГИТ возле речного порта Сургута.

* * *

В бригаду, на вертолете (еще Ми-4) вместе с продуктами прислали и целый ящик яичек, пересыпанных древесными стружками для сохранности. Тогда (начало 70-х годов) яички и фрукты на буровой были в большом дефиците, и не только на буровой, но и в самом Сургуте.

И мы сразу же стали просить нашу повариху тетю Надю, а по-буровскому – бабу Жабу, пожарить нам на обед и ужин яичек, потому что эти мясные котлеты, наполовину с песком, всем уже давно опротивели.

Надо сказать, что мясо на буровую завозили как минимум по полтуши. Выгружают, вернее выбросят ее на вертолетной площадке метров за двести-триста от буровой. Оттуда, зацепив ее тросиком «на удавку», трактором тащим к столовой. Если зима, то по снегу, и это еще ничего, а если лето, то прямо по песку, по лужам, по разбитой лежневке волоком. Или, в лучшем случае, на «пене» (большом листе толстого же-

леза), что в общем одно и то же. Там ее разрубаем на части и складываем в мешки, а мешки – в завалы, что вокруг буровской площадки, где мох, сучья, деревья, снег (как в холодильник).

После всего этого мясо от песка ни за что не отмыть, как ни старайся. Понятно, что и на второй день все снова стали просить приготовить им яичек.

– Сыночки, – ответила тетя Надя, – а яичек нету, кончились.

Тетя Надя (баба Жаба) была как раз в том возрасте, когда все такие, как мы, были для нее в равной степени – сыновья (сыночки), и возможность обижаться на какие-либо прозвища она уже утратила навсегда.

– Как кончились? – удивились мы, – ведь еще вчера больше половины ящика оставалось.

– Так это, сыночки... их Сильва съела, – ответила баба Жаба на полном серьезе, – она, Сильва; она самая и съела.

(Сильва – наша бригадная собака, большая молодая овчарка, абсолютно беззлобная и страшная подхалимка).

– Если бы Сильва съела, так хотя бы скорлупки от них где-нибудь остались, – попробовали мы заступиться за нашу Сильву.

– А что скорлупки? – тетя Надя перебила нас в нетерпении. – Скорлупки она закопала, да, закопала, если вы не верите вашей бабе Жабе. Баба Жаба вон как для вас старается. Все для вас. А вы? – сказала она обиженно.

И мы поняли, что яичек до следующего раза не будет.

Конечно, вечером ее муж, помбур Паша, улетел домой с полной сумкой, но кто станет проверять и обижаться на бабу Жабу, она и бражку заведет, и ключ от столовой оставит, и что-нибудь приготовит, чтобы ночная вахта смогла перекусить и согреться, а зимой это вот как необходимо.

Потом, когда Сильва лезла к нам поиграть, мы, шутя, теребили ее за уши: А ну, говори, куда спрятала скорлупки от яичек?

P.S.

Тетя Надя и ее муж Паша приехали в Сургут из небольшого городка под Новосибирском, чтобы заработать на квартиру для своей дочери, которая в скором времени у них должна была выйти замуж.

Тогда в нефтеразведке работать на буровой могли принять любого желающего, ибо не было такого «калача» вроде больших денег, ради которого туда валили бы валом. Только за счет северного коэффициента, да за так называемое ускорение что-то добавлялось в зарплате, ну и за счет личной бережливости была возможность кое-что подкопить. И приезжали сюда по преимуществу не за длинным рублем (за длинным рублем ездили в Магадан или куда-то намного севернее Сургута), а скрываясь от алиментов, от семейных неурядиц, после отсидки в местах лишения, потому что на «Большой земле» таким не бы-

ло места, были и по направлению после окончания учебного заведения. В то время жители Сургута относились друг к другу более благосклонно, чем сегодня. Улицы и дороги были без бетонного покрытия, машин – пересчитать по пальцам, но, поднимешь руку, и тебя подвезут хоть сколько-нибудь и бесплатно, даже если и не по пути.

Нынче всем глаза и уши, и – самое страшное – души, заслонили деньги.

Деньги! Деньги!

Не жди ни от кого ни сочувствия, ни поддержки, бейся как можешь сам. По сути дела мы (Россия), несмотря на все наши ракеты, включая и космические, сегодня переживаем время начального накопления капитала. Богатей – и все средства хороши: обмани, укради, присвой, «прихватизирай», торгуй хоть наркотиками, хоть государственными секретами, хоть людьми, лишь бы себе на пользу.

Европа (все еще загнивающая) прошла этот путь лет триста-четыреста, а то и пятьсот тому назад. И никакой демократии, ни с человеческим лицом, ни с лицом каким иным построить невозможно, как невозможно построить капитализм, социализм и тот же коммунизм. Это не строительство собачьей будки, садового домика или даже Дворца Съездов, а постепенное и едва заметное преображение одного в другое, что, вроде бы, называется эволюцией. Где ни воожди мирового пролетариата Владимиры Ильичи, ни дорогие Никиты Сергеевичи, ни незаменимые Вла-

димиры Владимировичи, ни тем более партийцы Геннадий никакой существенной роли не играют. Но... устроить свару, это – пожалуйста.

И кремлевские дяди, глаголя нам о строительстве чего-то с человеческим лицом, нисколь не сумявшись, привирают маленько.

P.S.S.

Еще. С улыбкой о поварихе тете Наде (бабе Жабе).

Бывало, поешь и тете Наде называешь, что ел, чтобы она посчитала и отметила в своей тетрадке. На выходе вдруг спохватываешься, что папиросы заканчиваются и просишь тетю Надю: Тетя Надя, посчитайте и за папиросы, я возьму, а то совсем забыл. Тетя Надя и в тетрадку не глядит: Бери, бери, сыночек, я уже посчитала.

... Купили ли они квартиру своей дочери, я не знаю.

* * *

Экспедиции не хватало 400 метров для выполнения годового плана и, значит, упускалась возможность получения наград, премий, переходящих красных знамен, квартир и других почестей.

А что эти 400 метров?

Кондуктор. То есть одно долбление 295 мм долотом до первых устойчивых глин. Затем спускается сам кондуктор – трубы диаметром 219 мм и цементируется. Цементный раствор прокачивают в за-

трубное пространство до выхода его на поверхность с таким расчетом, чтобы по всей длине (глубине) кондуктора образовалось надежное цементное кольцо, герметизирующее и сам кондуктор, и за-трубное пространство кондуктора (кондуктор – стенка скважины).

Далее на нем устанавливается противовыбросовое оборудование на случай, если при дальнейшем углублении скважины и вскрытии продуктивных пластов произойдет газо-нефте-водопроявление.

Это вкратце, что такое 400 метров при забурке.

Но... чтобы и их пробурить, надо не только смонтировать буровую установку, но и полностью ее укомплектовать всем необходимым.

И вот мы, освободившаяся бригада, приезжаем на буровую и видим, что как таковой буровой установки нет, стоит только одна ферма четырехногой вышки УЗТМ (Уралмаш) совершенно нагая, даже маршевых лестниц на ней нет.

А на дворе зима. Мороз. На сосне прибили градусник, спиртовой, красного цвета, так этот спирт весь спрятался в шарик, мы еще шутили, что надо ниже шарика на сосне делать зарубки.

Ни ключами работать, ни кувалдой постучать нельзя было. Даже при работе электросваркой концы надо было хорошенько прогревать и потом делать все, чтобы шов остывал медленно.

К тому же и присматривать друг за другом, чтобы случайно не обморозиться.

В общем, дни были актированными. Но всем так хотелось эти 400 метров пробурить или хотя бы запустить станок, что из конторских собрали вахту, человек пять, нам в помощь.

Кругом горели ведра с соляркой и ветошью, хотя открытый огонь на буровой строго запрещен. Все, что надо было отогреть, отогревалось факелами, что тоже не поощряется. Котельная была старая, разукомплектованная, вся в щелях; стоял один котел, да и тот с прогоревшим боком. В нее тоже нельзя было зайти из-за дыма.

В насосной и силовом блоке ходили пригнувшись, чтобы хоть что-то различать. Когда кашляли, то из нас высекали комки сажи. Мы-то еще ничего, привычные. Но конторские!

В толстых ватниках и новых несгибаемых варенках они были неуклюжи и неповоротливы. На них было даже немножко жалко смотреть. Конечно, у них был искренний порыв, и они хотели нам помочь, но не знали, чем и как. А мороз при каждом их выходе на буровую загонял их обратно в балок.

Как-то мы всей вахтой собрались на буровой возле ротора, пробуем его отогреть и провернуть, чтобы убедиться, в рабочем ли он состоянии, слить из его поддона все, что там собралось, и набить подшипник новой смазкой.

К нам поднялся начальник планового отдела, мы посторонились. Он поздоровался. Мы ответили. Он

посмотрел вокруг, потом вверх на пустую вышку и сказал:

— Сколько еще работы... Наверно, не успеть?

Мы промолчали, и так понятно, что не успеть.

— А как же верховой будет подниматься к себе на палати без маршевых лестниц? — спросил он самого себя и всех нас.

— На легости (это вспомогательная лебедка), — нисколь не смущившись ответил наш вахтовый хохмач Вовка-Балда, — и снимать так же.

— Да, — сказал начальник отдела не очень уверенно, как бы сомневаясь, не разыгрывают ли его, — но ведь это же опасно?

— Конечно, опасно, а иначе как работать, — на подобное за Вовкой никогда не вставало.

И начальник отдела вскоре ушел к своим, наверно поняв, что над ним пошутили.

Вечером на ужин он пришел с перевязанным указательным пальцем правой руки.

Сказали, что это зам. главного инженера по ТБ (технике безопасности) промазал молотком (хорошо, что не кувалдой).

Шутили, это чтобы лучше планировал.

А 400 метров проходки, на которые возлагались в конторе такие надежды, все-таки перешли на следующий год.

* * *

Нашей вахте бурилы Сергея Яцкова из бригады Серафима Ивановича Зиновьева сказали, чтобы мы летели на свою буровую, уже законченную бурением, и все подготовили для отправки на новую точку.

А там остались два балка (жилые вагончики), слесарка и забурочные сани (в этих санях, металлических с бортами, находятся долотья, патрубки, переводники разные и всякая другая необходимая мелочевка).

Их надо вывезти на вертолетную площадку и обвязать для переброски вертолетом.

Все остальное, включая столовую и культиваторку, уже там.

Мы обрадовались: плевое дело, и заодно денек-другой отдохнем от начальства и от суэты подготовительных работ к забурке.

По-быстроенькум сбегали в магазин, затарились кой-чем съестным и не только. Но первым делом, как высадились на место, все осмотрели, откопали у балков троса, завели трактор, подрезали под ними сани, чтобы завтра с этим не возиться, ведь примерзли, стоят-то с самого лета.

Слесарку и забурочные сани вытащили на вертолетную площадку сразу же, их надо отправить в первую очередь.

Скажу, что дело было зимой, а зимы в ту пору были довольно снежными и не менее – холодными.

Уже основательно завечерело, когда мы зашли в балок. Затопили печку, смастерили коптилку и ...

...Утром просыпаемся – в балке колотун, головы – вава, мы к столу – на столе черт те что, но ...ни в банках, ни в бутылках, ни в пачках сигарет – ничего: ни крошки, ни капли, ни сигаретки. Мы по рюкзакам – пусто. Вот это да! Вот это мы!

Ладно, делать нечего. Пойдем трудиться.

Перетащились без задержки (благо вчера постарались).

Слесарку и забурочные сани отправили быстро одно за другим и один балок на Ми-6.

За вторым балком вертолет не пришел – стемнело.

Назавтра с утра непогода – ветрище, снежище, метеет – ничего не видать. Решили: часть вахты пойдет заготавливать сушняк для печки, часть отправится на то место, где стояла столовая, поискать что-нибудь съестное. Бывает, при переездах поварихи выбрасывают все залежалое и негодное, а тут как назло – все обшарили и ничего, кроме нескольких картошин да чуточку капусты на дне разбитого бочонка. Должно быть, наши лесные «меньшие братья» еще до нас постоловались на ней.

Вот правильно говорят: едешь на день, запасай на неделю.

И курева – ни табачинки. Мы обшарили в вагончике все углы, все щели в полу обследовали, перерывали весь песок вокруг печки, куда обычно бросаем окурки – и ничего.

Погода стала успокаиваться, перестало свистеть и мести, прояснилось небо, но за нами все не летят и

не летят, мы приуныли, стали подумывать, что о нас забыли.

Все больше лежим, экономим силы, лишь изредка делая вылазки за чапыжником (мелким сухостоем), который можно наломать на дрова.

Ни охотничьего снаряжения, ни рыболовного крючка нет ни у кого, и балок совершенно пуст, кроме голых кроватей и печки.

Ждем, прислушиваемся, постоянно стало казаться, что летит вертолет, что он все ближе и ближе. Выскочим, постоим, нет, не слышно.

Так проходит день, еще и еще.

Мы даже разговаривать перестали, только самый морозонеустойчивый с нижних кроватей встанет подбросить в печку полешко-другое для поддержания тепла.

И вот утром, едва рассвело, в студеном воздухе стал отчетливо доноситься приближающийся шум винтов Ми-6.

Мы быстренько соскакиваем со своих лежанок, хватаем вещички и – на улицу. Этот уж точно за нами.

Забиваем наглухо дверь, чтобы она при перелете случайно не открылась и не отвалилась в воздухе от болтанки.

Вертолет приземлился рядом с балком, из него выпрыгивает стропальщик, за ним Юра – инженер ПТО (производственно-технического отдела).

Когда мы помогли стропалью зацепить балок, и он стал подниматься в вертолет, мы вспомнили о еде и куреве, побежали к вертолету, показывая на немом буровском языке:

А рубать (то есть еду)?

А курить?

Стропаль только развел руками, но выбросил недокуренную пачку сигарет и закрыл дверь.

Мы смотрим как Ми-6 выбирает трос, вот он над балком, отрывает его от земли и летит в сторону леса, набирая высоту. Мы провожаем его прощальным взглядом.

Поздоровались с Юрай, закурили (на голодный-то желудок), и Юра говорит, что нам надо пройти по дороге километров пять, там стоит балок дорожников, который к завтрашнему дню приготовить к отправке.

Думаю, мы втихомолку (про себя) сказали ему по паре теплых слов и поплелись вслед за Юрай.

Как только окончился лес, окончилась и дорога, пошла совершенно пустая, белая равнина с редким кое-где торчащим малорослым чапыжником, с едва просматриваемой просекой.

Равнина упиралась в самый горизонт и, казалось, она бесконечна. Где он, этот балок? И есть ли он вообще?

Вот говорила же мне сестра Наташа: «Не ходи ни в какие экспедиции. Не поступай ни в какие геологии. Намаешься».

Она сама всю жизнь проработала в лесоустроительных экспедициях таксатором в этом же Ханты-Мансийском округе, тогда еще Остяко-Вогульском.

Нет, не послушался.

Теперь давай: «Крепись, геолог. Держись, геолог...»

Идем по просеке. Снег то крепкий как бетон, даже следа не оставляем, то ухаем в него почти по пояс.

До балка притащились еле-еле, уже при луне. Сломали возле него несколько чапыжин, разбили их на куски; и пока я растягивал печку, все верхние престижные места заняли, пришлось умащиваться тут же, рядом с ней.

Этим, которые наверху, – тепло, сразу позасыпали, а внизу как на улице, и мне волей-неволей пришлось за печкой присматривать, чтобы она не прогорела.

Слышу – наш Юра что-то подозрительно при вздыхает и присапывает.

– Жует, – подумал я, но не стал делать вид, что слышу: если у него всего ничего, то на всех все равно не хватит.

Утром с проходящим вертолетом нам передали несколько булок хлеба и банок сгущенного молока.

Ну что ж, жить можно.

...Сургут нас встретил вечерними огнями как фейерверком.

* * *

Каждое лето вниз по Оби на нефтегазовый Север отправлялся теплоход «Генерал Карбышев» с литературным десантом на борту. Десант этот состоял в основном из писателей и поэтов средней руки, случались композиторы, певцы и художники. Для них это были творческие командировки на передний край строительства коммунизма в поиске новых тем, новых героев – людей труда, желательно комсомольцев, а еще желательней – молодых членов КПСС (Коммунистической партии Советского Союза), с их необычными судьбами и небывалыми свершениями.

И когда «Генерал Карбышев» приставал в речпорту Сургута, ребята из нефтеразведки бежали туда, чтобы в его буфете разжиться пивом. Напитки покрепче можно было приобрести и в гастрономах. По одному такому гастроному приходилось на каждый жилой микрорайон. Микрорайонов было семь, – это геологов, рыбников, гидростроителей, старый Сургут, энергетиков, строителей (за Саймой) и НПУ.

Лично мне бегать на теплоход не приводилось, в таких случаях в общежитии всегда был кто-то, кто готов был это сделать добровольно и с большим энтузиазмом.

Не случалось как-то и бывать на выступлениях, то – на работе, то – еще где-то, то – просто стеснялся.

Но о тех, кто приезжал, с кем проводились встречи и у кого брали интервью, я узнавал из нашей газе-

ты «К победе коммунизма». Так, в номере за 26 июля 1973 года была напечатана статья Лили Петровой о прибытии в Сургут очередного десанта, перечислялись наиболее известные имена, а в заключении было стихотворение Риммы Казаковой, без заголовка, из трех четверостиший.

Хоть зла судьба к поэту, хоть добра,
Его душа не перекати-поле,
Поэту подобает худоба:
Сгорают углеводы в топках боли.

Пылая, душит дымом материк
Встревоженных вопросов без ответов...
Я не о тех, кто рифмы мастерит,
Я не про стихотворцев – про поэтов.

А слов, как дров, мир наготовил впрок,
Но за чертой, где на шкале: «Довольно!»
Ты – в прежнем платье, в маскхалате строк,
Поймут ли, что тебе и вправду больно?!

Когда я прочитал его, то непроизвольно сложились вот эти строки:

*Поэту подобает худоба,
А поэтессе, стало быть, тем более.
Я углеводы в печку, хоть добра
Мне этого, признаться, жалко больно.*

*По мне слова, к примеру, как дрова,
Беру не гладкие, а чтобы пошершавей,
И знаю я, что в этом я права.
А коль вы против, значит, ни шиша вы.*

*Мои стихи читать читатель рад,
И если вдруг с ним приключиться бально,
Я на него накину маскхалат...
А, может, платья прежнего довально.*

Это не пародия, избави Бог. Это, скорее всего, отклик или – улыбка, или что-то в этом роде.

Я их нигде не приводил и не печатал, неудобно, все-таки, женщина.

* * *

В Сургуте в семидесятые и восьмидесятые годы существовало литературное объединение «Северный огонек», самое сильное во всей Тюменской области. Его посещали журналисты, учителя, воспитатели детских учреждений, шоферы, строители, буровики нефтеразведочной экспедиции, речники, авиаторы... – всех не перечислить.

Регулярно, раз в месяц, в газете «К победе коммунизма», нынешняя «Сургутская трибуна», выходила литературная страница, в основном поэтическая, под тем же названием – «Северный огонек».

На предприятиях Сургута, в рабочих общежитиях, клубах и школах, и даже детских садиках на нас был

спрос, нас постоянно приглашали выступить, почитать стихи.

И руководила тем «Северным огоньком» по поручению городского комитета комсомола ответственный секретарь газеты Алла Походенко, печатавшая свои стихи в секрете от нас под именем университетской подруги.

Во время отсутствия Аллы заседание «Северного огонька» вела Нина Заболотнева, комсомольский работник, журналист, поэтесса, без грани сомнения верившая в наше светлое будущее, зовущая в него и воспевающая всеми своими стихами идущих ему на встречу.

Хорошая, способствующая творческому росту, была у нас игра – игра в буриме. Перед началом заседания задавались тремя-четырьмя парами рифм, старались какими-нибудь непростыми, а концу заседания каждый по кругу читал что у него получилось. Было интересно.

К сожалению, ничьи из огоньковцев буриме мне не запомнились, а вот из своих несколько вбились в память настолько, что я никогда их не забывал. И здесь я их приведу, для интереса:

*Кто-то, кто-то обломал все розы
И текут, не умалкая, слезы.*

*Нет, уеду лучше я на север
Выплакать печаль свою на клевер.*

*Вот куплю лишь на дорогу торт,
Чтобы славен был советский спорт.*

*Это тоже колоссальный труд,
Иль со всей одеждой прямо в пруд.*

* * *

*Что-то зачастila к нам во двор заловка
Видно, в огороде вызрела морковка.*

*И бобы поспели. Подошел горох.
Я и сам когда-то с ними был неплох.*

*Тут загромыхала под окном телега.
Я на ту телегу сиганул с разбега.*

*Хороши к обеду ложка и хамут,
Если перед этим руку вам пожмут.*

* * *

*Завяли розы –
Пришли морозы.*

*Печален Толик,
Как алкоголик.*

*Кругом тайга.
В тайге турга.*

*На лицах маски.
Все в жуткой краске...*

*С такой судьбою
В подвал гурьбою.*

Открывали месторождения – одно, другое, третье... Пустили ГРЭС – первую очередь, вторую. Возвели через могучую Обь железнодорожный мост. Встретили первый, прошедший по нему состав. А недавно, рядом, перекинулся с берега на берег и красавец – автомобильный. Построили наисовременный аэропорт. Заасфальтировали улицы и дороги, даже уложили декоративную плитку. И так далее. И так далее.

В общем, нечему стало удивляться, нечего воспевать, все стало привычным, обыденным.

Деньги. Деньги. Деньги – стали мерилом всего. Потому и нынешний «Северный огонек» тусклый, серый и никому не нужный.

Но... для вахтового Сургута сойдет и такой, чем вообще никакого не будет, хотя бы как память о былом.

* * *

В 1975 году, весной, в марте месяце, чудесным вечером, отстояв дневную вахту, я приехал в общежитие, сходил в душ, отметился в буфете и в радостном настроении хотел было пойти побродить по улицам, как вдруг ни с того ни с сего мне стало плохо.

* подвал – продуктовый магазин на улице Артема.

И не то, чтобы голова там разболелась, руки, ноги или живот, нет, но все тело стало каким-то вялым, безвольным, голова напрочь отказалась что-либо соображать.

И я не мог понять: что это со мной? Что за причина? И так внезапно? Как будто происходило что-то невероятное, что-то неподвластное моему пониманию.

Я просто не находил себе места.

Так продолжалось час, может, два.

И тут приносят телеграмму: «Умерла мама. Срочно вылетай».

* * *

В Москве в Издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник стихотворений Николай Михайловича Рубцова «Подорожники» (это 1976 год). Составителем и автором предисловия к которому стал близкий друг Рубцова поэт Виктор Коротаев.

Многое множество книг вышло после «Подорожников», и более объемных, и более красочных, с подробной биографией, с фотографиями и письмами. Но для меня «Подорожники» в ее простой элегичной обложке – самая добрая, самая сердечная, самая поэтичная из всех.

В тот год мне каким-то чудом удалось выпросить отпуск в сентябре. И я решил съездить к другу, тоже сочиняющему стихи, в его город Ангрен, что в Узбекистане, недалеко от Ташкента, а по пути побывать в

Новосибирске у сестры Наташи, помочь ей в чем-нибудь на мичуринском и вместе с ней навестить могилку мамы на Гусинобродском шоссе.

Когда пришло время уезжать из Новосибирска, я в ожидании автобуса, идущего на железнодорожный вокзал, возле магазина «Юбилейный», в газетном киоске, увидел «Подорожники». Купил.

И потом пожалел, что всего одну книжку, потому что тот экземпляр я подарил другу, в надежде, что вернувшись в Новосибирск, в том же киоске приобрету другую. Но долго, очень долго нигде не мог ее встретить, пока случайно, многие годы спустя, у одних моих знакомых ее увидел, и они мне ее подарили. просто так.

По возвращении из отпуска в назначенное время я побежал на заседание литературного клуба, проходившего тогда в редакции газеты «К победе коммунизма» (ныне «Сургутская трибуна») поделиться со всеми радостной вестью, что есть, что жил еще совсем недавно такой русский поэт – Николай Михайлович Рубцов.

Каково же было мое удивление, когда на все мои восклицания: «Вот у кого настоящие стихи! Вот у кого настоящая поэзия!», на меня стали фыркать, а один из наиболее известных тогда местных «мэтров» сказал громко и откровенно: «Да какой он поэт! Его баба задавила. Набросила ему на морду подушку. Села на нее своей сракой. Он и дрыгнуться не успел».

Обидно мне было за Рубцова. Страшно обидно. Очень трогательными были его стихи. Очень близки они мне и по манере написания, и по душевной доброте и искренности.

Но что я мог сказать. Книжки его со мной не было. Я ее подарил. И в ней, книжке, ничего не было сказано о последних днях Рубцова и как он погиб.

Тогда в моде были московские поэты: Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина и другие этого ряда, названные «шестидесятниками». У них учились, им подражали, их книги были нарасхват.

Через многие годы, в самом конце 90-х, в России стали широко печататься сборники Рубцова, исполняться песни на его стихи. В родных краях поэта на средства почитателей его необыкновенного таланта открылись ему первые памятники, создались Рубцовские центры. Такой центр образовался и в Сургуте. И те, кто еще совсем недавно считал Рубцова никчемным, вдруг враз его «полюбили», да так крепко, что начали наперебой признаваться ему в «любви» и писать во «славу» его свои холодные, пустые, мертворожденные стишки, вероятно, в надежде, что вот, мол, и мы тоже...

* * *

Прошло всего месяц-другой, как я ушел из экспедиции и меня приняли в УБР-1 пока помбуром. Жил я теперь в благоустроенном общежитии в микро-

районе НПУ (нынешнее НГДУ), но меня по-прежнему тянуло на Федорова, 66 в общежитие нефтеразведочной экспедиции к ребятам, с которыми еще совсем недавно вместе работал, жил (и в общежитии, и на буровой), ходил на рыбалку, играл в футбол, ну и, конечно же, бывало, и выпивал, с получки, с аванса и, естественно, по праздникам.

И вот как-то собрался и пришел, и мне говорят: «Ты слышал, у нас вертолет сгорел на буровой вместе с тремя вахтами», – и называют знакомые имена, две поварихи и одна коллекторша из техникума, практиканта. Всего восемнадцать человек. Только экипаж и смог выпрыгнуть.

– А из ребят никто? – спросил я.

– Ты как будто сам не летал, мы же всегда прихватывали с собой бутылочку-другую на «Школьной» (на этой остановке по улице Центральной был продуктовый магазин, в который мы бегали, ожидая вертолет) и не всегда их довозили до буровой, выпивали или тут же на месте, или уже в полете, и спяну наши «механизаторы» лезли в кабину к пилотам «порулить».

И те стали закрываться.

В этот раз они приземлились на площадку и что-то им не понравилось. Хотели с маневрировать и перевернулись – застряло колесо между бревен. И моментально вертолет загорелся. Ведь вместе с вахтами возили и продукты, и долотья, и переходники всякие, и бочки с бензином – сам знаешь.

Мы приготовились уж было в вертолет запрыгивать, подошли поближе к площадке, а тут — пламя, крики, лопасти пашут землю, вертолет мотает, елки-палки, волосы дыбом, взрывы.

Мы просто остолбенели.

Кто-то из экипажа ринулся было в это пекло, его удержали.

Все кончилось в считанные минуты. От вахт только и осталось, что пирамидка с именами, даже сорвать было нечего.

— Жаль ребят. Страшно жаль, — только и смог я сказать.

— Теперь стали на вертолетках поверх бревен настилать плахи, проверять рюкзаки и всякое разное с вахтами не возить. А ребят уже не вернуть.

С тяжестью в сердце и на душе ушел я оттуда.

А ведь и я мог бы быть там, если бы тогда не ушел из экспедиции, как будто предчувствовал, как будто кто меня предупредил.

* * *

Об этом забавном случае мне рассказала знакомая дама, а ей — один из непосредственных участников.

Как-то приехали в Сургут начальники, не то чтобы большие, но и не то чтобы уж совсем маленькие.

И местное руководство, после всех важных встреч и заседаний, решило организовать для них, как сегодня говорят, уикенд, то есть приятный отдох с выездом на природу, с рыбалкой, охотой и,

конечно же, с ухой под это самое. В общем, отдохнуть, развеяться.

Притом им уже приходилось (и не однажды) возить гостей на одно из недальних угодий, с хозяином которого – ханты – у них завязалась на этой почве, можно сказать, дружба или что-то наподобие шефства.

Никаких снастей с собой не брали, потому что там все есть, за исключением двух ящиков самого необходимого и подарков.

Прилетели на вертолете. Разгрузились. Все, что привезли с собой, перетащили поближе к избушке.

И пока знакомились с хозяином, пока расспрашивали его, что это и для чего это, хозяйка, почти на-глухо закрывшись платком, сбегала на речку, достала из садка рыбину и стала готовить уху.

А хозяину не терпится, не с пустыми же руками начальники прилетели, можно бы немножко и до ухи, что ждать.

И одну бутылку размочили за встречу, за знакомство, потом пошла вторая, за ней третья, и тут уже не до вечерней зорьки – все перенесли на утрешнюю, ничто никуда не уплывет, ничто никуда не улетит, подождут.

Всем стало хорошо и просто. Все повеселились. Разговорились. Перешли на «ты».

Когда уха поспела и хозяин, оценивая ее, попробовал, стало темнеть и настолько, что решили перебраться в избушку.

В избушке зажгли керосиновую лампу, затопили печурку и показалось, что, не глядя на ее почти убогость в сравнении с их собственными квартирами, это самое уютное местечко на земле.

Пир продолжался почти до полуночи.

Выпивали и под уху, и под вяленую лосятину, и под глухаря, и под чего-то еще и еще, пока хозяин, заикаясь и еле водя полусонными глазами, не сказал, что, однако, пора спать.

Хозяин с хозяйкой легли на свою кровать, а гости на полати, устланные еловым лапником, поверх которого лежали оленые шкуры.

И когда казалось, что изба вот-вот погрузится в крепкий сон, со стороны кровати послышался легкий скрип и легкий сап, а потом раздался звук, напоминающий резкий хлопок, как будто выстрелили из небольшой пушечки, и тотчас на этот выстрел избушка отозвалась оглушительным хохотом.

Хозяин встал, недовольно ворча, взял ружье: «Давайте, однако, вставать!» – твердо сказал он и направил на них ствол.

Все мигомпротрезвили.

И как его ни просили, как ни извинялись, он был решительно неумолим.

Волей-неволей пришлось встать и выйти, кто его знает, лучше от греха подальше.

А осенние сибирские ночи вы знаете какие.

Утром, чуть забрезжил рассвет, вышел хозяин, проверить, живы ли?

– Ну, что ж ты, – называют его по имени-отчеству подошедшие, – мы тут совсем чуть не околели от холода, даже костерок не могли разжечь, спички забыли, пришлось бегать всю ночь вокруг твоей избы, чтобы согреться, хоть бы бутылочку вынес.

– Постучали б маленько.

– Постучишь тут. Пальнул бы еще.

– А разве можно смеяться, когда муж жену радует, – ответил он невозмутимо.

Вот ведь – радует – а не как-то там...

И хотя ночь для всех гостей прошла без сна и во взаимных упреках – кто же первый загоготал, восходящее солнце, безупречной чистоты и голубизны небо и вконец застеснявшаяся хозяйка, да еще по стаканчику для сутреву, за мир и понимание, за удачную охоту и рыбалку – и все недоразумения развеялись сами собой...

И до вертолета еще целый день.

Воспоминание об этом всегда вызывало добрый смех не только у слушателей, но и у самих рассказчиков.

* * *

Случалось мне подменять бурильщиков на время их отпусков в бригаде одного мастера, еще довольно молодого, возможно, даже одних со мною лет.

Стояли мы на Западно-Сургутском месторождении возле Черной речки. Место хорошее, высокое, сухое, кругом сосняки. Было начало лета. Погода стояла солнечная.

Вахта подобралась на удивление, никому ничего не надо объяснять, каждый знал свою работу. Ни в понукании, ни, тем более, в покрикивании необходимости не было никакой. (Больше такой вахты мне встречать не приходилось никогда.)

Мы пробурили кондуктор – это четыреста десять метров от устья скважины. Проработали этот интервал. Спустили трубы. Зацементировали. И еще остался целый час до смены вахты. Мы стали мыть емкости от шлама (выбуренной породы) и наводить порядок на буровой. Работы много, всем хватит, но ребята мне говорят: «Коля, тут мы справимся сами. Иди, отдохни, заодно заполни журнал».

Я пошел. Я был уверен, что они все сделают на совесть и без меня. Когда мы садились в автобус, они меня спросили: «Ну, как, Коля, можно с нами работать?»

– Конечно, – заулыбался я, – еще как!

Но однажды я дал маху.

На одной из скважин этого куста (куст – ряд скважин, от двух и более) при бурении из-под кондуктора, взяли на долото более тысячи метров проходки. А на следующей скважине в этом же интервале только немного более семисот. При этом долото смаслали (то бишь, сработали) до предела, до самых гидравлических насадок. И все это делалось по настоянию мастера.

Я возьми да и выскажись неосмотрительно, что раз на раз не выходит, что породы одной скважины отличаются от пород другой. Что и долотья тоже

различны, хотя на них и стоит одна и та же марка. Мастеру мои слова кто-то все-таки передал. И я стал для него злой враг.

В это время в нашей газете «К победе коммунизма» (нынешняя «Сургутская трибуна») была напечатана большая подборка моих стихов. Ее заметили в Тюмени и пригласили меня записаться на областном телевидении. Я согласился. С работы меня отпустили (тогда в УБР-1 была комсомольская организация, и ее секретарь мне в этом помог).

Там, читая перед телекамерой стихи, я не забывал сказать добрые слова и о нашем мастере, какой он молодой, грамотный и перспективный.

А в это самое время в Сургуте этот молодой и перспективный буровой мастер поливал меня грязью, где только мог и сколько только мог.

Приехав из Тюмени и выйдя на работу, я почувствовал резкую перемену в его отношении ко мне. На одном из «дней мастера», когда за полчаса до отправки автобусов на буровые собирались мастера и бурильщики для подведения итогов за неделю, он буквально обрушился на меня, хотя наша вахта была лучшей в его бригаде. И главная ударная сила его была в том, что я отрабатываю долотья в любом интервале скважины почти на сто процентов. Он это подал как прямую предпосылку к аварии, что, мол, так отрабатывать долотья нельзя.

Это было невыносимо, и чтобы собравшиеся не заметили, что у меня на глаза набегают слезы, я вы-

бежал на улицу. Страшная обида давила меня. Ведь, если по правде, он должен был попросить меня поделиться секретом, и я бы не стал скрывать, по сути дела секрета и не было. Мне помогало мое институтское образование и достаточный опыт, приучивший меня анализировать и обобщать. Еще чувствовать на буровой каждый звяк-бряк, видеть, даже затылком, что где происходит и понимать забой скважины в любом его состоянии.

Ну, что ж, я никогда ни к кому не напрашивался.

* * *

По работе нам часто приходилось встречаться с вышкарями, то есть вышкомонтажниками.

Мы заканчивали бурением последнюю скважину на кусту (куст – ряд скважин), а они на новом, смонтированном для нашей бригады, оставались одним звеном устранять замечания, выявленные приемной комиссией.

Мы занимались подготовительными работами к забурке: подвешивали ключи, делали переоснастку талевой системы, если канат срабатывался сверх допустимых норм, перебирали насосы, чистили емкости и желобную систему, приготавливали, или нам завозили, глинистый раствор, укладывали на мостки бурильные трубы и кондуктор (верхняя колонна, перекрывающая рыхлые неустойчивые пластины) и много-много других работ, необходимых для проводки скважины. Они же (вышкари) устранили

свои недоделки, всякие мелочи, в основном по сварке.

В длинные летние вечера, переходящие в белые ночи, мы (буровики, с одной стороны, и вышкари – с другой), не глядя на усталость и на то, что утром рано вставать, успевали еще поиграть в футбол.

Мы все тогда были молоды, и энергии у нас хватало на все.

Это было время, когда Россия составляла основную, большую часть огромного Советского Союза.

Холодная война между Америкой (США) и нами (СССР) потихоньку теплела, начинали устанавливаться кой-какие дружеские контакты.

И первые такие шаги навстречу были сделаны в сфере нефтедобычи и всем, что с этим связано.

Тогда, конец 70-х – начало 80-х годов на месторождениях Среднего Приобья объединения «Сургутнефтегаза» на кустах с одной пробуренной скважиной на другую буровой станок передвигали с помощью так называемых пневмодвижителей – толстых прорезиненных мешков, которые подкладывали между «сигарами» (опорами вышки) и самой вышкой. Накачивали их воздухом от компрессора, вышка приподнималась и на этих надутых мешках, как по каткам ее передвигали на три-пять метров. Там под основание буровой клади деревянные прокладки, воздух из мешков спускался, и вышка устанавливалась на свое обозначенное место. Далее шла подготовка к забурке нового ствола.

Это было как бы наше ноу-хау.

И вот этим ноу-хау наше начальство решило с американцами поделиться.

Вышкари рассказывали.

Зимой. В декабре. Почти под самый Новый год нас заранее, дня за два предупредили, что к нам на передвижку приедут американцы, и чтобы мы к их приезду куст зачистили, сделали планировку, т.е. подравняли площадку и убрали с куста всю лишнюю технику, а также везде навели блеск и порядок, и все такое, а заодно – в столовой, балках и сушилке – вдруг заглянут, а где невозможно, забить наглухо.

Нам даже выдали новую спецовку, правда, не на всех, а только четыре комплекта тем, кто непосредственно будет занят на передвижке. Остальные, кому не хватило, по сигналу должны были спрятаться за обваловкой.

Утром мы приехали. Переоделись. Еще раз по кусту пробежались. Технику завели. Приготовились.

И вот прораб выглядывает из кульбаки (там находится рация) и орет, что они выехали, и машет рукой, чтобы мы побыстрей убирались с куста.

Мы тотчас скрылись за обваловкой. Там умостились кто как. Притаились. Ждем.

Погода стояла хорошая, солнечная, хотя и морозная.

Приехали. Два «бобика» (ГАЗ – 69) и «Кавзик» (автобус КавЗ). Наши и четверо американцев. Сначала все поднялись на буровую. Там походили. Потом

спустились и тут еще походили, посмотрели, что к чему, и начали передвижку.

А нам-то интересно: как хоть выглядят эти американцы? Что они из себя? Во что одеты? Да и сидеть просто так надоело.

Поочередки стали приподниматься и выглядывать, а кто и закурил.

Те, по всей видимости, нас заметили, потому что они (американцы) принялись один другого подталкивать, кивать в нашу сторону и улыбаться. Начальники наши заговаривают их, стараются отвести подальше от того места, где мы сидим, а прораб как бы из-под полы нет-нет да и покажет нам свой кулак.

Слава богу, передвижка прошла без помех, ни один мешок не лопнул, ни один шланг не порвался.

Когда повариха позвала их всех в столовую, мы по одиночке гуськом, пригибаясь как партизаны, перебежали в насосную.

После всего этого прораб собрал нас в культивдке и выговорился от души:

— Эх, ребятки, ребятки, — сказал он свое самое самое распоследнее из ругательств, — ну что вы, в самом деле, не могли там посидеть спокойненько часик-другой. Я же просил вас не высываться, а вы... Только слепой не смог бы вас заметить, и дымили, как паровозы. Мне такое от начальства пришлось выслушать, что не знал, куда деваться. Вот если только с меня премию снимут, я сдеру с вас, так и знайте.

Не знаем, но вроде все обошлось...

А сами американцы ничего, крепенькие, с достоинством, и похоже, отнеслись ко всему, ну если не как дипломник к абитуриентам, то во всяком случае, как дембель к новобранцам, мол, давайте-давайте, напрягайтесь, мы-то давно все это уже прошли.

Рассказ их нельзя было слушать без улыбки, ведь это все так по-русски.

* * *

В УБР-1 работал Сергей Иванович Пономарев, бурильщик, интересный и своеобразный человек, небординарный, как сказал бы о нем какой-нибудь не очень высокий начальник. Высокий начальник о нем так не сказал бы, потому что Сергей Иванович фатально был не сдержан на языке.

Тогда на буровые ездили не на «Каросах» и даже не на «Икарусах», а на наших отечественных «ПАЗиках» и «Кавзиках», «Лазах» и «Лиазах», старых развалиюхах, зачастую неотапливаемых, с выхлопами: половина – на улицу, половина – в салон.

И дороги были им под стать, они, казалось, никогда не узнают, что такое бетон и – подавно – что такое асфальт. Где-то с полдороги вахты пересаживались в ГТТ (гусеничный тяжелый тягач) и по разбитой лежневке, по совершенно непролазной болотной няше, гремя траками и поднимая за собой столбы торфа и грязи, упрямо лезли куда-то вперед, пока не натыкались на буровую.

И платили ведь совсем ничего по сравнению с нынешними зарплатами, только за счет ускорения (давай-давай) да сверхплановых метров, да за безаварийную работу.

Об условиях и снабжении не стоит даже и заниматься.

Это правильно, что сейчас нигде не пишут и не говорят о романтике труда нефтяников-буровиков и нефтяников-геологов. Романтика труда ушла вместе с теми, кто когда-то приехал сюда не ради длинного рубля (пусть – не только ради), но и ради первого фонтана, первого факела, первого поезда. Кто не считался со временем, надо, значит, надо, ночь- полночь, дождь-снег, давай, ребятки, веселей.

И если, случалось, с нами ехал какой начальник (не глядя, мужчина это или женщина), то чем выше был его пост, чем ближе он садился к Сергею Ивановичу, тем язвительней и громче высказывался Сергей Иванович не только о своем буровском начальстве, но и о городском, областном, союзном и обо всех за-граничных. Казалось, он все о них знает и о каждом имеет свое особое мнение. И ведь не боялся, что могут дождить куда следует, а могут и привлечь.

Мне приходилось с ним встречаться, когда мы оба работали бурильщиками (даже в одной бригаде) и потом, когда его поставили буровым мастером, уже в другом управлении.

Но я расскажу о том, о чем сам услышал не без улыбки от его бурового рабочего Рината.

В вахте Сергея Ивановича в это время работали: первым помбуром – Кабанов, вторым помбуром, то есть верховым – Гусев. И Ринат.

Зимой, в трескучие морозы, когда начальство передавало по радио:

– Все на ваше усмотрение! (В смысле работать или стоять на актировке). Бригады старались с большей, чем обычно, осторожностью, но делать свою работу.

При бурении еще ничего, потихоньку, аккуратненько, и метры идут. Зато, когда долото сработалось и надо поднимать инструмент (бурильные трубы), чтобы заменить долото, тут начинались проблемы с элеватором (приспособлением для их спуска и подъема).

При подъеме не откроешь, при спуске не закроешь из-за намерзающего на свечах (двух свинченных вместе трубах) и самом элеваторе раствора и шлама.

Внизу элеватор можно просто обстучать или отогреть паром, а там, наверху, где пронизывающий ветер, как из огнива, высекает из глаз слезы, которые не успевают даже упасть, а тут же замерзают, до боли стягивая ресницы, не очень-то разбежишься.

В ту вахту Сергею Ивановичу всего-то и надо было допустить до забоя долото, промыть скважину и начать давать метры (что он особенно любил), работа не пошла, не пошла и все, на каждой свече заминка, а метры-то уходят. И вот первый помбур, видя, что бурила начинает психовать, кричит верховому:

— Эй, ты, бройлер общипанный, чего там вошкаться?

Это было время начала поступления в нашу страну бройлерных кур в полиэтиленовой упаковке, а чуть позже пошли и «ножки Буша».

А верховой весь упарился, хлопает створкой элеватора, элеватор не закрывается, выведет из него свечу, постучит, почистит, опять пробует закрыть — никак, и еще этот снизу каркает...

И он, свесившись из люльки верхового, орет, напрягая жилы:

— Заткнись, поросенок!

И на какое-то время вообще перестает что-либо делать, чем окончательно выводит Сергея Ивановича из себя. Он хватает стоявшую рядом с пультом метлу, вскидывает ее как ружье и кричит: «Бах! Бах! Я убил тебя. Падай! Падай!»

И Ринат говорит: «Я стою возле них в сторонке и не могу удержаться от смеха».

Конечно, это происходило в сердцах, но беззлобно, потому что как говорили: «С Сергеем Ивановичем не соскучишься», и, потом, каждый понимал, что здесь ничего не поделаешь, а работать надо.

* * *

На Западно-Сургутском месторождении по старо-федоровской дороге где-то между Нефтеюганским шоссе и Черной речкой влево километра два-три стоит пирамидка, сваренная из двухдюймовых НКТ

(60-мм насосно-компрессорных труб). Поставлена она на месте гибели сварщика из вышко-монтажной бригады.

Как рассказывали сами вышкари, это случилось весной в конце 70-х годов двадцатого столетия в апреле месяце при перетаскивании вышки БУ-75 (буровая установка грузоподъемностью 75 тонн). То было время начала широкомасштабного наступления на Западную Сибирь как на основную нефтегазовую провинцию, еще СССР.

До этого буровые вышки с куста на куст перетаскивали, предварительно положив их на специальные тележки на гусеничном ходу.

Тут расстояние было невелико, местность ровная, накануне на ИТТ дорогу вновь прокатали туда-обратно, и поэтому вышку решили не ложить, а тащить в вертикальном положении.

Это экономия времени на демонтаж – монтаж, быстрой буровая бригада осуществит забурку, а, значит, улучшатся показатели вышкомонтажной конторы, Управления буровых работ и в целом объединения «Сургутнефтегаза».

Для этого из-под буровой убрали тумбы, на которых она стояла над скважиной, подвели под нее «лыжи», специально сваренные из бурильных труб, закрепили и потихоньку тронулись.

В перетаскивании были заняты шесть тракторов(сотки), два тянули вышку и по два спереди и сзади на оттяжках, чтобы случайно вышка не упала.

Когда прошли больше половины пути и вышли на открытое место, где на огромном белом пространстве торчали лишь чахлые болотные сосенки да сухой чапыжник, подъехал «Урал» отвезти на обед.

По команде бригадира тракторы враз остановили, заглушили двигатели и поехали, а караулить остался сварной (он всегда возил что-нибудь с собой из дома) да молодой парнишка, ему в подмогу, недавно принятый вышкомонтажником, на стажировке.

Уселись они спереди, на лыжине, на солнечной стороне, перекусили и молодой решил пройтись. А сварной остался, он закурил и от нечего делать, просто так, стал пяткой слегка стучать о лед. К полудню лед подтаял, и лунка углублялась. Вот и вода стала просачиваться. В это самое мгновение буровая качнулась, скользнула на этот угол и придавила сварщику ногу, да так, что казалось, нога попала в тиски, и кто-то все сильней и сильней сдавливает ее.

Он попробовал освободиться — не получилось. Вынуть ногу из сапога — нога не поддалась.

Молодой шел по дороге, удаляясь от буровой, не спеша, в пол обычного своего шага. Ему хорошо. Весна. Теплынь. Пока все складывается, как нельзя лучше. Он остановился, снял шапку и, зажмурившись, подставил лицо весенним лучам.

Было тихо. Но тишина была уже не та, зимняя, безжизненная и холодная, а тишина весенняя, наполненная живительной влагой, проникающей сквозь

толщи снега до самых корешков мхов, трав и этих тощих деревцев.

Вдруг что-то заставило его обернуться и пристальнно присмотреться к буровой. Он заметил, что буровая несколько наклонилась, а сварного нигде нет.

Он пошел, а потом и побежал, чувствуя что-то неладное.

— Ты сможешь завести трактор, тот, слева, на оттяжке? — спросил сварной, когда молодой подбежал.

— Не-е-ет, н-н-не приходилось, — пролепетал он, прия в ужас от увиденного.

— Там... — сварной хотел было объяснить, но понял, что это бесполезно, да и у каждого тракториста есть свои секреты.

— Принеси лом и лопату.

Попробовали ломом и лопатой.

Мох, насыщенный водой, замерзший и лишь местами проеденный живцами, не поддавался ни лому, ни лопате. Молодой сбросил с себя телогрейку и вдоль ноги сварщика голыми руками полез под лыжу.

— Куда! — закричал сварной, — еще и тебя придавит. — Сбегай лучше за ребятами, может... успеют, — добавил он совсем тихо с тем только, чтобы отослать молодого.

Что он испытал в свои последние минуты — только Богу известно.

Когда вышки приехали, они увидели наклоненную вышку, натянутую как струна оттяжку и трактор, протащенный юзом по льду несколько метров.

Надо же так случиться, что буровую остановили именно здесь прямо над «живцами». Если бы немножко перетянули или немножко недотянули, все могло быть по-другому.

Если бы...

Утром, в начале девятого, после пересменки, когда я заполнял вахтовый журнал, чтобы передать сводку на базу, то есть в Сургут, в УБР-1, в кульбаку зашел мастер и почти торжественно произнес: «Николай, приедешь, зайди в отдел кадров, там тебя награда ждет».

Меня это немного удивило, ведь награды обычно вручают в торжественной обстановке или на профессиональном празднике – дне нефтяника, или на собрании, посвященном какой-нибудь знаменательной дате, а тут – одни прошли, другие еще не наступили. Может, щутка.

– Хорошо, – ответил я, – зайду.

Приехал, захожу, здороваясь извиняюще, что отрываю от работы. Начальница поднимается и говорит: «Николай Васильевич, что же вы не заходите, мы вас вызываем, вызываем. Мне надо выполнить приятное поручение – вручить вам награду».

– Ну, – думаю, – орден, не менее (за семнадцать-то лет работы в «Сургутнефтегазе»), в крайнем случае, медаль «За доблестный труд» или «За трудовое отличие».

Она подходит к шкафу, выдвигает нижний ящик, берет оттуда медаль и подает мне. А в ящике этих медалей полным-полно, чуть ли ни с верхом.

Я посмотрел – «Ветеран труда». Всего-то.

Меня это страшно разочаровало.

– Зачем она мне нужна эта железка, ничего не значащая, – подумал я и стоял, не решаясь, брать – не брать.

Хотел уж было отказаться, но так, чтобы они поняли, что в подобных наградах я не нуждаюсь, что у меня есть другая награда, данная не начальником, а самим Господом Богом, т.е. слагать стихи. (К тому времени у меня в Москве вышла книжка стихов «Душа моя», правда за свой счет, но все равно думаю, не очень плохая.)

Потом, как будто внутренний голос мне сказал: «Возьми, пусть будет на память».

И я взял, и действительно вышло на память, ибо вскоре без особых на то причин написал заявление об увольнении.

Правда, в этом мне помогли мои сургутские «друзья», настойчиво предлагавшие: «Да бросай ты эту грязную работу. Занимайся творчеством». И когда их «жужжание» возымело действие, и я уволился, в стране тотчас разыгралась эпидемия дефолта, выбросившая меня на такие «рифы», откуда я еле-еле выбрался, но... чтобы вновь, в 2000 году, угодить, благодаря стараниям этих же «друзей», на еще более погибельные «рифы», откуда я и выкарабкиваюсь до сих пор.

P.S. Этой медалью «Ветеран труда» меня наградили благодаря ходатайству профсоюза не нашего УБР-1, не Сургутского городского и не Ханты-Мансийского окружного, а Тюменской областной профсоюзной организации.

По-видимому, к тому времени до них еще не дошло, что кроме работы бурильщиком я еще что-то там в рифму кроплю в тетрадки.

* * *

Пригласили в Тюмень на областной семинар молодых литераторов. Но почему-то меня одного отделили от общей группы сургутян и записали в группу с другими ребятами и с других городов. Я был немного удивлен, меня это как-то насторожило, правда, на какое-то время, а потом подумал, да пусть, если так надо.

Заметил (еще раньше), что руководители семинаров начинают разбирать рукописи с самых слабых, с тех, авторы которых в этом деле беспомощные новички. На чьих опусах они могут оттянуться на полную катушку, сияя своей эрудицией и знаниями, и тем самым возвыситься в глазах семинаристов. Хорошие же и достойные внимания рукописи оставляют на потом, на закуску, как говорится. Зачастую до «закусок» дело не доходит, а то и вообще они «исчезают» бесследно.

На этот раз моя рукопись сохранилась, но не была рассмотрена. В последний день семинара, в самом

конце, мне передали несколько машинописных листов Николая Денисова с кратким отзывом о стихах этой моей подборки.

Сам он почему-то на семинаре не присутствовал, хотя был утвержден руководителем нашей секции.

Вот этот отзыв.

Надежность (о стихах Н. Сочихина)

В рукописи сургутянина Николая Сочихина много интересных, по-настоящему поэтичных, крепко, профессионально написанных стихотворений. Об этом говорить приятно и радостно, потому что встреча с хорошими стихами – всегда радость. Вот я пытаюсь сейчас определить для себя: в чем же привлекательны стихи Н. Сочихина? В первую очередь, мне кажется, мировидением, мироощущением. Надежностью их лирического героя, человека, уже пожившего, немало повидавшего на земле. Да, за плечами автора рукописи – военное, детдомовское детство, сельское детство, к которому он всегда возвращается не только стихами-воспоминаниями, армия, учеба. И его – Север! И это особенно важно – его Север. Он живет на севере, как в родном дому, он прикипел к нему органично, без натуги. Просто как человек, привыкший и к трудностям и к радостям бытия. Привыкший, пожалуй, не то слово. Север,

работа, здесь для Сочихина по-юному романтичны, по-крестьянски основательны. И этому веришь.

Стихи Николай Сочихин пишет давно, насколько я помню. Их обсуждали уже на областных семинарах молодых литераторов. За эти годы он вырос. И это, еще раз повторяю, радует.

Хочется цитировать его лучшие стихотворения из рукописи. Вот одно из них – «Песня о глухаре»:

*Картечь прошла его насквозь
И огонек потух.
Пришли. Повесили на гвоздь
Такую красоту.*

*А тот, с ружьем, он знал свое.
Он был герой. Он цвел.
Он был доволен, что ее
На мясо перевел.*

*Уж каждый в мыслях ел его.
Уж чугунок вскипал.
Глухарь висел и ничего
Уже не понимал.*

*Не знал он, в чем его вина.
Что с сердцем? Что с крылом?
И в клюве клюквинка одна
Горела янтарем.*

Можно говорить о частностях. О некоторых не-точностях в стихотворении, например, о том, что «уж чугунок вскипал», то есть мясо уже варилось, а птица... продолжает висеть на гвозде. Но они. Эти ча-стности, легко поправимы.

Трогательно стихотворение о женщине, о любви. Не просто трогательно. Оно объемно по звучанию, современно.

*Мне нынче что-то грустно.
А грустно почему?
Ни письменно, ни устно
Не скажешь никому.*

*Та грусть в наши век особый
Нелепа и смешна –
Мне нравится особа,
Да замужем она.*

*Я жил легко, беспечно –
До ста лет халостым.
Нечаянная встреча
Все обратила в дым.*

*И что-то вдруг случилось
Со мной. Во мне. Кругом.
О Боже, сделай милость –
Не проболтать о том.*

Не убавить, не прибавить...

Есть в рукописи Н. Сочихина стихи, написанные по частному, узкому слушаю. В них главенствует мотив «местного патриотизма»: мы, мол, тоже не лыком шиты. Например, «Слово о Нижневартовске», «Не могу не петь хвалу Сибири» и некоторые другие. По художественным качествам они далеко не родня лучшим стихам, вероятно, уже позднего периода написания.

Встречается в стихах – и не однажды! – уничижительная мысль о том, что я, мол, не гений, я маленький, но все же ... свойский, рабочий. От этих настроений надо избавляться. Они привнесены извне, не из внутреннего состояния поэта. Ведь он доказывает своими лучшими вещами, что он поэт и может писать крепко.

Есть стихи затянутые: отбрось в них лишние строфы и стихотворение заиграет, обретет упругость. Это – «Сургутские авиарейсы», «Дурочка», «Стихи», «Ребята с нашей буровой» и другие.

Сочихину нужен серьезный, вдумчивый, понимающий редактор. Почему говорю о редакторе? Потому что в будущем видится – при серьезной работе самого автора – сборник стихотворений. И одним из центральных мотивов этого сборника мог бы стать наш нефтяной и газовый север, люди севера, их мысли, поступки, переживания.

На мой взгляд, основой для будущей книжки или подборки стихов в коллективном сборнике могут стать такие стихи:

1. Геологу Жене.
2. Поэтесса.
3. Воспоминание о нефтеразведке.
4. Деревенская родня (сократить, доработать).
5. Зима.
6. «Люблю как приеду в деревню...» (поправить).
7. Весенняя песенка (доработать или убрать последнюю строфиу).
8. Каргасок.
9. Сургутские авиарейсы (сократить).
10. Жаворонок (доработать, сама мысль пока не нова).
11. Отпускное (поправить, убрать последнюю строфиу).
12. Кто я?
13. «Ребята с нашей буровой...» (убрать последнюю строфиу).
14. Дурочка (доработать).
15. «Кружится. Кружиться...»
16. Северное сияние.
17. Грустная песенка.
18. «Пойдем, девчата, в лес...» (много банальностей, доработать).
19. Сельский бригадир (плохо – «не вкушал вина»).
20. Песня о глухаре.
21. Кофейный горошек (посмотреть внимательней, м.б., сократить).
22. Стихи (последняя строфа лишняя).

23. Портрет брата (если в нем не заемная мысль, то очень хорошо).
24. Стихи о младшем брате.
25. Слово к товарищам.
26. Я хожу по буровой (посмотреть, м.б., поправить конец стиха).
27. Ночная вахта (жигулинский мотив чувствуется).
28. Вахтовые рейсы.
29. Раздумье (затянуто, сократить, доработать).

Эти стихи лучшие в рукописи.

Хочется еще раз пожелать Н. Сочихину удач. И работы над словом.

Он это умеет делать.

Н. Денисов

К сожалению, Николай Денисов не отметил, какого числа и какого года проходил в Тюмени этот семинар. Я думаю, что в 1983-м, максимум, в 1984 году, ибо на следующие семинары я уже не ездил.

Теперь возьмем парочку стихотворений и посмотрим, надо ли в них что-то менять. К примеру, седьмое – «Весенняя песенка» с его пометой – доработать или убрать последнюю строфику, ну и двадцать седьмое – «Ночная вахта» с пометой – чувствуется жигулинский мотив.

Не знаю, как ты, читатель, я прислушался к советам, но менять ничего не стал. Убежден, что в этих стихах все на своем месте, они закончены и лишнего

ничего нет; что в них – мое дыхание, мой взгляд, мое лицо и, не посчитай, что громко, – моя душа.

Весенняя песенка

*Пусть снова выюга злится
И леденеет даль,
Но клюнула синица
О голубой хрусталь.*

*И смотрит день с улыбкой,
Как тетушка сосна
Качает солнца зыбку,
А в зыбке той – весна.*

*Еще не скоро лето,
Не слышно, не зови.
Еще за морем где-то
Зимуют соловьи.*

*И все ж светлеют лица,
И розовеет даль,
И клюнула синица
О голубой хрусталь.*

Ночная вахта

*Кутру сгоняли «вира-майна»,
Две с половиной, как-никак,
Кто буровик, тот понимает,
Что это, в общем, не пустяк.*

*И вот покуда наши «бурила»
Слегка нащупывал забой,
Вся вахта дружно закурила,
Воссев на лесенке крутой.*

*Молчали мы, и разговоры
Совсем не нужны были там,
И тонкий дым от «беломорин»
Давал успокоенье нам.*

*Была проделана работа,
И вахта подошла к концу,
И у соседа от чего-то
Плыла улыбка по лицу.*

*Вставал рассвет легко и мудро.
В «приеме» булькала вода.
И тихо на ладонях утра
Теплилась хрупкая звезда.*

* * *

Вечером позвонил Николай Удинов.

– Что делаешь?

– Да, ничего.

– Заходи, – он назвал свой номер.

– Ладно.

Ну, что одному сидеть. Настроение нормальное. Подборку на семинаре отметили, даже книжку уви-

дели впереди, хотя и в будущем, но все-таки. Бутылочка коньяка в холодильнике, на всякий случай, если кто заглянет в гости.

Но было какое-то тревожное предчувствие. Мы давно не поддерживали никаких отношений. А мое мнение о его стихах ему давно известно.

Сначала зашел к своим сургутянам: Сергею Сметанину и Игорю Кириллову, чтобы не идти одному.

— Там Николай Удинов что-то приглашает, может, пойдем.

Куда там. Ноль внимания. Обнимаются с руководителем их секции, тюменским поэтом Виктором Захарченко и умасливают (ума сливают) обоюдно комплиментами.

Не до меня.

Ну, что ж, надо идти, коли обещался.

Зашел. Номер полон. Жуж стоит неимоверный. Никто никого не слушает, все говорят одновременно, не разобрать.

Я поздоровался. Удинов распорядился, потеснился, и он меня определил рядом с Басковым, сидящим возле окна.

Не успел я еще свой коньячок поставить на стол, как Басков хватает графин, гранёный, наш, советский, с державной ржавчиной внутри и замахивается на Удинова. Тот в ответ что-то пробурчал, как будто сделанно.

Я посмотрел на одного и другого — что это они? Специально разыгрывают какое-то действие? Нет,

предчувствие меня не обманывало. Не так что-то здесь, не так.

Басков поставил графин.

Удинов пересадил меня напротив своей особы. Обернулся, взял трубку телефона. Я услышал: «Приходи. Он здесь».

Нет, не совсем тут чисто, не совсем.

Разлили коньячок человек на десять, не менее. Не успели эти миниграммы выпить, заходит Надточий.

Удинов сажает его рядом со мной, справа. И тут же, еще не успев умоститься (было тесно), Надточий бьет меня локтем в грудь:

— У-у-у, японец!

— С чего это он?! — подумал я, перемогая боль и восстанавливая прерванное дыхание. Но он тут же, с еще большей силой ударил, и с еще большей злобой прошипел: «У-у-у, японец!»

Что ему надо, гадине, писателю хренову?

Надо было встать и уйти, и многие так бы и поступили на моем месте. Но я начинаю подумывать, как мне сделать ответный «визит» ему в морду. И тут, уже в третий раз, получаю удар с тем же змеиным шипом:

— У-у-у, японец!

Я закипаю. От злости меня начинает трясти. Но...

Пришел гонец, посланный за добавкой. Пусто. Все закрыто. Уже поздно. Стали собираться вниз, на первый этаж, что-нибудь там сообразить.

Поскольку я сидел ближе к двери, то и вышел первым, чтобы не мешать другим. Вдвоем с внушитель-

ным парнем из Надыма пошли потихоньку по коридору к лестнице, говоря о своих ликкружковских пустяках. Остальные толпой на каком-то расстоянии шли сзади.

Почти у самой лестницы я сказал: «Давай подождем».

Они подошли. Мы повернулись...

Я пришел в себя в больнице, когда меня сажали в медицинское кресло, и сестра поднесла нашатырь раз и другой.

В голове пронеслось: Где это я? Что со мной?

Хотел было встать, но врач и сестра удержали.

Голова трещала неимоверно. Были такие спазмы, что до нестерпимой боли сжимал глаза и зубы. Казалось, что кто-то стальными клещами отрывает от мозгов куски, что вот-вот голова расколется, развалится, разлетится на мелкие осколки.

Доктор проверил скальпелем – цел ли череп.

Я и сам подумал: Хорошо что хоть черепушка цела, но немаленький, видать, кусок скальпа почти снесли с головы.

Сделали уколы. Рану промыли. Отбитый кусок пришили. Голову забинтовали. Ушли.

В таких случаях они обязаны звонить в милицию. И я подумал, что надо уходить, а то потом устроится такая возня, что не возрадуюсь и сам. Я встал и вышел.

Ночь. Безлюдье. Небо ясное, звездное. Холод. Декабрь все-таки.

Пошел серединой улицы, может, кого встречу – спрошу куда идти. Немного прошел и вот она – милицейская машина.

Привезли в участок. Спросили: Как? Что?

Я, конечно, как сумел наврал, мол, не помню, не видел, сзади, шел по коридору.

Мне сказали: Вот ты их жалеешь, а ведь они тебя не пожалели. Ну, смотри сам.

Как тут поступить, если у этого самого Удинова я знал жену его и их сына. Как!?

Устроили на койку с простынями.

Утром отвезли в гостиницу.

К полудню пошли на телестудию для записи.

Баскову дали право прочитать два стихотворения. Первое, как волк попал в капкан, отгрыз себе лапу и ушел.

Все ведущие посчитали его (Баскова) тогда как открытие семинара, а мне, в крайнем случае на меня, его стихи не произвели радостного впечатления, наоборот, показалось волчым рыком в рифму, на русском (вроде бы) языке. Второе не помню.

Тогда я только лишь догадывался, что именно он, как истый уголовник, сзади, нанес этот страшнейший удар.

Это случилось в 1983 году, а в 1986-м его приняли в Союз писателей России. Если взять во внимание, что прием на месте и утверждение в Москве длится год-два, а то и три, можно смело предположить, что он исполнил чье-то поручение, а те в

свою очередь выполнили свое обещание, приняв его в СП России.

В одном из номеров «Литературной России» мне встретилась подборка Баскова.

Там, в одном стихотворении описывалось, как шахтеры сидят на «Горбатом» мосту и стучат своими горняцкими касками. Стишок серенький как и все остальные.

Но, чем стучать по мосту, лучше бы они постучали ими себе по головам перед тем, как целым эшелоном из Кузбасса отправляться в Москву поддерживать кандидатуру Ельцина в выборах на пост президента России.

* * *

После возвращения из Тюмени ко мне в избушку на Заячий остров зачастил (с чего бы это) Николай Удинов. Скорей всего с целью разузнать – помню ли я что-нибудь из того, что со мной произошло.

Во время своих посещений он старательно намеривался убедить меня в том, что это я сам прыгнул в лестничный пролет с четвертого этажа, полагая, что у меня после такого удара память отшибло напрочь.

Нет, дорогой, все, что было до удара, я помню, помню прекрасно. И с какой это радости я бы туда стал прыгать, да еще с четвертого этажа?

В последующие посещения уже говорил, что тот, кто это сделал, готов со мной помириться.

Я ответил, что ни о каких примирениях не может быть и речи. Мы не дрались, а все это было заранее

спланировано и обговорено, и действовали подло, сзади.

Еще через несколько дней говорил мне, что тот ползал у него в ногах, прося прощения.

Но и это не все.

Через какое-то время он уже говорил, что надо было тогда на того подать в суд. Но, если подавать в суд на кого-то, то первым в этом списке должен был стоять он, Удинов, именно он, как организатор и вдохновитель.

И когда он опять перешел к своему первому варианту и снова стал убеждать меня, будто это я сам прыгнул в лестничный пролет с четвертого этажа, я не выдержал и сказал ему, чтобы он не... «заливал», а все было так, так и так.

Он замолчал.

На этом его посещения прекратились.

* * *

Так кто же это сделал? Кто?

Могли только трое.

Удинов?

Нет. Этот, что называется, марать рук не станет. Он инициатор. Все устроит. Все организует. Но так, что останется в стороне, незапятнанным, вроде как бы он и ни при чем.

Надточий?

Этот может. Очень даже может. Не зря же именно его и пригласил Удинов, чтобы спровоцировать дра-

ку, свалку, а там кто-то третий и должен был довести дело до решающего конца.

Много лет спустя, в книге Нинель Старицкой «Наедине с Рубцовым», я наткнулся на строки:

«И вот однажды пришел (Н.М. Рубцов) с молодым, уверенным в себе юношей. – Это поэт, – представил Рубцов своего спутника, – Юрий Надточий.

Оба они казались трезвыми, но по их разговору (особенно Коли) заметно, что предварительно выпили. Обычно немногословный, словно пришибленный, в трезвом состоянии, пьянецкий Коля – говорун.

На этот раз он не просто говорил, он что-то доказывал, спорил.

Спорил горячо, то и дело взмахивая руками.

Юрий говорил негромко, но убедительным тоном, а Коля Рубцов накалялся после ответной фразы.

Сидели они за столом друг против друга. В комнате была только мама. Ну и я тоже, но я выходила часто на кухню (готовила обед), поэтому не следила за нитью разговора. Но то, что несколько раз вспоминалось слово Русь напомнило мне давний спор Рубцова с кумыкской поэтессой в комнате Нины Груздевой.

Но спорить с девушкой одно, а с мужчиной – другое.

Спорящий, видимо, брал верх, и тогда в руках Коли Рубцова появился нож. На мгновение – немая сцена, общее оцепенение.

Первой опомнилась мама. Она подошла к Коле, взяла из его рук охотничий нож (он и не пытался его удерживать) со словами: «Давай сюда. Еще чего выдумал...»

После этого Коля с мрачным видом вышел на кухню, а Юрий сказал: «Если бы он только сделал одно движение, я бы успел перехватить и ... в него».

Не новичок он в этом деле. Ох, не новичок.

Но кто же мог быть третьим? Ведь на затылке глаз нет.

Да и удар был такой силы, что самого удара я не почувствовал.

Басков?

Скорей всего, что он. Больше некому.

После я слышал, что ребята (участники семинара) хотели его отлупить, выходит, только хотели. Но кого? Никто не назвал его имени.

Боялись! Вероятно. А кто-то и радовался: Вот этому «поэту» башку разворотили, теперь-то уж он ничего не сможет написать.

Говорили, что был весь в крови, орал, ругал. Но кого? Опять же об этом все молчали, даже наши сургутяне Сергей Сметанин и Игорь Кириллов, которые, якобы, были моими друзьями и которые в это время были внизу, видели и слышали, что там происходило, ничего не сделали, чтобы мне хоть чем-то помочь.

Потом, в Сургуте, как-то на вопрос Сметанина: «Что пишешь?» – я ответил, что не пишется и голова

страшно болит, он сказал: «Да это они пошутили, а ты просто исписался».

Хороши шутки, нечего сказать.

И лишь много лет спустя, в телефонном разговоре я спросил одного знакомого, свидетеля того вечера: «Кто все-таки ударил?»

– Зачем тебе это, ведь столько лет прошло? – последовал ответный вопрос.

– Как зачем, дорогой! Мы должны знать своих убийц. Это может быть кто-то из троих, но кто?

Удинов?

– Нет.

– Надточий? Он?

– Не он.

– Тогда кто? Басков?

Какое-то время трубка молчала.

– Так Басков или нет? Что ты мнешься, как девица на выданье, никому я не скажу, что узнал от тебя, – сказал я.

Басков, да?

– Да.

– Так бы и сказал. Не бойся, твоего имени никто не узнает.

P.S.

Нынче я узнал, что Басков еще в 2004 году предстал перед небесным судом, правда, избежав суда земного.

P.S.S.

В конце книги приведена ксерокопия литературной страницы газеты «Вологодский комсомолец» за 29.01.1969 год, где помещены подборки стихов Николая Рубцова и Юрия Надточего. Редактор В. Оботуров, видать, и составитель ее, правильно и справедливо расположил своих авторов: Рубцова в верхнем левом углу, Надточего – в правом нижнем.

Читать, обычно, мы начинаем с верхнего левого угла, переходя постепенно к правому нижнему, от стихов Рубцова, несомненно талантливых и истинно поэтичных, к стихам Надточего, весьма посредственных и необязательных, не трогающих ни ум наш, ни сердце.

Так смог бы Надточий сделать то, о чем он сказал Старичковой? Конечно, смог бы. Не в этот, так в другой раз. Против «тщедушного» – то Коли, который ко всему, сам бы и начал...

И только по воле неведомых сил и рокового стечения обстоятельств, «это» переложилось на плечи молодой женщины.

* * *

Эта главка является продолжением страницы 143, где я попытался рассказать о моей поездке в Вологду.

На следующий день решил побродить по городу, посмотреть и с ночным поездом вернуться в Москву. Увидел купол храма. Пошел к нему. Храм Святой Софии. Красивый. Старинный. В Византийском стиле.

Массивные дубовые двери и высокие узорчатые окна. Перед таким сооружением невольно хочется снять шапку и поклониться. Храм закрыт. Ремонт. Неподалеку речка. Возле речки на горке памятник Константину Николаевичу Батюшкову. Он во весь рост. В одной руке держит свернутую в трубку рукопись, в другой – поводья. Конь нагнулся голову, как бы собираясь пощипать травку. Рядом, справа, храм Святого Александра Невского. Работающий.

По мосту перешел на другую сторону, свернул налево, там, у самого берега (пологого) стоит полуразрушенный храм. Троє молодых рабочих, должно быть студентов, на тачках вывозят из него мусор и сваливают в кучу.

Видать по всему, когда-то этот храм был очень красивым и нарядным, что даже и сегодня в его нынешнем состоянии он невольно вызывает восхищение и ... недоумение: как только у людей могла подняться рука на уничтожение такой красоты.

Обогнулся храм и пошел в город. Эта часть города такая же, как и везде, в любом уголке России, широкая современная улица с троллейбусными подвесками, по сторонам улицы многоквартирные панельные коробки жилых микрорайонов.

Вернулся обратно к Батюшкову и пошел вдоль берега. За «Поплавком» небольшой, побеленный известью домик – домик Петра. Музей. Зашел. Посмотрел вещи и предметы, принадлежащие когда-то самому Петру. При входе-выходе сидели две дамы

почтенного возраста. Посетителей, кроме меня, не было никого, и я спросил: «А о Рубцове здесь что-нибудь есть?»

— Нет, о Рубцове здесь ничего нет.

— Как? Он лучший на сегодня поэт России, ваша гордость.

— Какая гордость, — воскликнули они почти враз, — от него только одни неприятности и были, вечно попадал в какие-то истории.

— Потому что трезвым никогда не был, — заключила одна из них.

И я не нашелся что сказать. К тому же двери были открыты, и там перед входом толпилась группа ребятишек, возможно, из Англии или Америки. Они о чем-то перекликались на своем языке, а двое самых бойких играли в мяч. Один размахивал мячиком, потом поднимал ногу и, когда ее ставил, делал резкий выпад вперед и его бросал. Другой мальчик, стоящий напротив него на каком-то расстоянии, должен был этот мячик поймать в большую рукавицу-ловушку, надетую на руку.

Я подумал, что задерживаю, и вышел.

* * *

По возвращении в Москву в Издательстве дорасплатился за книжку «Душа моя», мне дали квиток в типографию на выдачу тиража. Там я посмотрел на приготовленные брикеты и спросил: А что же мне с ними делать?

Ко мне, как к молодому автору, отнеслись с пониманием и посоветовали отправить их почтой, благо, что почта совсем рядом и будет стоить не так дорого. И главное (что меня убедило), сказали, так поступают многие авторы.

На почте работали молодые девушки, может, практикантки. Они мне во всем этом очень здорово помогли, и я в знак признательности купил им коробку конфет и подарил несколько книжек своих «шедевров» с благодарственной надписью. Возможно, у кого-то из них она хранится и ныне.

Значимость своей книжки я решил проверить на москвичах и отправился с одной пачкой на Арбат в надежде, что ее у меня тут же расхватывают. Арбат в то время был всесоюзной толкучкой, там продавали все и вся. Но меня интересовали поэты. На углу проспекта Калинина, в начале Арбата, слева, высокий и бойкий человек в громкоговоритель читал стихи под Высоцкого, только без гитары. Он громил Горбачева и Ельцина, коммунистов и демократов, милицию и т.д., доставалось всем. Люди подходили, слушали и высказывали свое отношение к его чтению одобрительными криками. Потом он стал продавать подборки своих стихов, набранные, скорее всего, на компьютере и размноженные на копировальной машине. К этой купле-продаже вознамерился пристроиться и я, но он меня остановил: «Нет, ты сначала почитай».

А я перед такой аудиторией и в такой обстановке никогда не читал, стихи мои совсем другого склада и

... «почитать» не решился. Все-таки своими творениями мы обменялись. Я помню, что подписал ему мою книжку как «Брату с Арбата». Он на своей подборке просто расписался. Это был Юрий Казаков. И я пошел по Арбату вниз поискать других поэтов.

В самом низу, где уже почти не было ни продавцов, ни покупателей, стояла, прислонившись к стене, молодая особа, перед ней была дорожная сумка с книжечками. Я попросил разрешения прислониться неподалеку. Она разрешила. Я прислонился. Раскрыл сумку и достал несколько книжек. Молчать было как-то неудобно и я спросил ее, откуда она. Она ответила, что из Прибалтики, а в Москве проездом. Я спросил, как там в Прибалтике. Говорят, что русских оттуда гонят, убивают и чуть ли не едят.

— Выдумки все это, — ответила она, — никто никого там не убивает, тем более — не ест, наоборот, помогли мне издать эти книжки совершенно бесплатно.

Она показала буклет из трех тоненьких книжечек.

Постояли мы не более получаса. За это время она продала один буклет, а я ни одной книжки. Ко мне даже подойти никто не решался. Потом она засобиралась на поезд.

Одному мне стоять было совестно, и я опять пошел по Арбату, но уже вверх. Не доходя до проспекта Калинина, увидел двух крепких тренированных ребят и несколько человек около них. Я подошел. Собирают подписи о запрещении в стране деятельности КПСС (Коммунистической партии Советского

Союза). Я подождал и записался тысяча двадцать вторым. Надо было кроме фамилии, имени и отчества указать точный адрес и место работы, и телефон (если он был). За мной встала одна женщина и спросила: «А кто эту акцию проводит?»

Я ответил совсем машинально, не подумав: «Не видите – КГБ».

Тот из них, кто был, как бы на поддержке, немножко физически поскромнее, сказал другому: «Ну, что, на сегодня, наверно, достаточно».

Женщина подать свой голос на запрещение КПСС не успела.

Все-таки годик-другой ко мне нет-нет, да и приходила мысль: Вот остановят тебя где-нибудь ребята, подобные этим, и предложат пройтись.

Вроде обошлось.

Было лето тысяча девятьсот восемьдесят девятого года.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Российская писательская организация, изрядно потрепанная междуусобицами, далеко не парламентским выяснением секретарских амбиций, переболев лихорадкой повальной политизации общества, когда многие писатели, забыв о «служенье муз», старательно служат интересам различных партий (часто просто антинародных), трудно одолевает пучину всеобщей смуты и раскола.

Хочу верить, преодолевает. Ибо все больше людей осознает, что мы достигли гибельного предела духовного падения и нравственного одичания, что самозабвенные читатели «Анжелик», «Тарзанов» и «Рембо» не только национальную экономику не поднимут, но и детей-то своих лишь по праву физиологического отправления родными детьми называть смогут.

Сейчас нашему писательскому Союзу важно оценить и учесть те здоровые национальные силы, ту творческую энергию, которая и делает его Союзом писателей России.

И на новые силы, идущие к нам, взглянуть не с высоты секретарских кресел, не снисходительно-отечески взглядеться в их лица и творения, а понять, что покуда пишут люди свои произведения в самое неписательское и неиздательское для первых книг время, есть надежда, что в целом весь русский народ, оболганный и расслояный, сумеет сосредоточиться, вернуть себя в Историю, возродиться.

А чтобы в годы анархической коммерции и дикого бизнеса, меценатствующего лишь по отношению к массовой культуре, к телевизионным шоу да конкурсам красоток, писать стихи, при этом не «иронические», не модернистские, а устойчиво традиционные (то есть с позиций совести и заветов русской поэзии) – нужна истовость, самоотверженность, которые проще будет назвать призванием. И еще то, о чем Никону Сочихину удалось сказать кратко и афористично:

Дети войны –
Последние идеалисты страны.
Больше таких она не родит,
Вышел лимит.

Для меня эта сколь категоричная, столь и трагичная миниатюра – визитная карточка поэта, живущего в Сургуте, умеющего отречься от житейских благ, но даже и в смутное время не способного отречься от поэзии. Сколько нас, имеющих писательские билеты, кто с горечью, а кто и с мазохистическим удовлетворением произносящих сегодня, увы, расхожую фразу: «Старик, да какой я нынче поэт? Не до стихов. Я кооператор, коммерсант, бизнесмен»?

Музыкально-интонационная основа стихов Н. Сочихина традиционна, что совсем не означает эпигонства и стилистической косности. Традиция – это вжитость в национальную культуру и историческую память. И все русские поэты – «одной гармони разные лады», одно дело делают: каждый создает свой образ России.

И даже традиционный стих подчиняется этой цели всякий раз по-новому, выказывает новые свои возможности:

А у нас зима – белым-белешенька.
А у нас зима – звенит дороженька.
А у нас зима, а у нас зима...
Сойдешь с ума!

Так усечь строку может только лютый мороз, перехватывающий дыхание. И это тоже образ России. Тюменской. Северной.

Н. Сочихин, перенесший сиротское военное детство, знает цену куску хлеба и мужской строгой дружбе. Об этом у него много хороших стихов и в периодических публикациях, и в книжках. В конце концов все мы пишем свою судьбу и только через нее судьбу людей и страны. Сама историческая память – кровная память. Иначе стихотворец неминуемо впадает в литературщину, начетничество, в риторическое сочинительство.

У Н. Сочихина есть судьба и есть ее поэтическое осмысление и воплощение. Наиболее профессиональной и выражающей поэта книгой мне представляется сборник стихов «Душа моя», изданный в московском издательстве «Прометей» в 1989 году.

И оттого, что автор обладает редким для лирика качеством – даром доброй улыбки, разговор о судьбе, о Севере, о друзьях с буровой получается человечным, проникновенным. И (это не парадокс) очень серьезным, ибо интонационно усиливается одно из важных качеств поэзии – сообщительность.

Я не ставлю себе задачу рецензировать здесь стихи Н. Сочихина. И удачи его, и какие-то срывы художественного вкуса и стиля (иногда, например, целые стихотворения представляются несколько облегченными, словно написанными по слуху, то есть блокнотными эскизами) – все это живой творческий процесс.

Автор, которого знаю и слежу за его работой много лет, только сейчас по-настоящему раскрывает свой поэтический потенциал. И от него ожидаю многого. Как от собрата по перу, как от хорошего русского поэта.

Уверен, что вступление в ряды профессионального писательского союза поможет талантливому сургутскому поэту выявить себя еще полнее. А литературная определенность давно уже присутствует в его работе. Он уже имеет свой стиль, почерк и, что очень ценно, узнаваем.

Мне остается только сожалеть, что лишь сейчас он получил количеством публикаций возможность поступления в ряды писательского союза.

Но лучше поздно, чем никогда.

Со всей ответственностью рекомендую поэта Никона Сочихина для приема в Союз писателей России.

Москва.
15 февраля
1992 г.

Член Союза писателей с 1974 г.
Поэт Владимир Топоров
Членский билет № 01694

* * *

Возможно, я не оставил бы УБР-1, если бы там относились ко мне несколько иначе.

Сделает бурильщик аварию (шарошки оставит, заклинит инструмент, уронит в скважину что-нибудь весомое или, не дай Бог, произойдет несчастный случай, его переводят в помбуры на четыре месяца

(это как обычно). Он же, не будь дурак, пишет заявление на отпуск и как бы становится ни при чем.

В таких случаях меня просили: «Николай, надо поработать».

И я шел.

А кто пойдет на голый тариф?

Так это повторялось не один раз, не два, не три и уже говорилось: «Николай, надо поработать, не в службу, а в дружбу».

И опять я соглашался. Мне и самому было в интерес, и я думал, больше узнаю, больше опыта наберусь и, когда меня поставят мастером, я буду все делать сам, без указчиков и советчиков.

Когда бригада выходила из аварии и становилось возможным снова получать хорошие зарплаты и ускорения, бурильщик возвращался на свое место, я же опять оказывался не у дел, на подхвате, до следующей аварии. За это мне и спасибо никто не говорил.

Но при делении квартир, премий, наград, отпусков и путевок (тогда с этим была проблема), обо мне в конторе говорили так: «Сочихин. Да кто он такой. У него стишкы на уме». Или. «Сочихин. Да кто он такой. У него ОДНИ стишкы на уме...» Тут поневоле станешь задумываться: а не уйти ли туда, где к тебе будут относиться по-человечески.

К тому же мою вахту часто ущемляли и в заработке. Мне ребята говорили: «Коля, мы больше всех работаем, а получаем всех меньше. Как так?»

Однажды я набрался храбрости и пошел в контору разобраться – почему? Ничего толком не узнал, только стыда натерпелся и ребятам сказал: «Нет, ребятки, я на это не гожусь, разбирайтесь уж сами».

А работать мне нравилось. И когда ребята говорили, что тяжело, что устают, я им советовал: «Не смотрите на работу как на какую-то повинность, относитесь к ней как к физическим упражнениям, за которые еще и деньги платят, и вам будет легче».

А тут, вдобавок, мои «друзья» жужжат в оба уха: «Да бросай ты эту грязную работу. Занимайся творчеством. Да бросай ты эту грязную работу. Занимайся творчеством».

Им-то что! Их жены прокормят, а мне как? И какое может быть творчество, когда ни хаты, ни зарплаты, когда по стране все и везде ищут хоть какую-нибудь работу, хоть какой-то уголок, где можно притулиться...

Так одно к одному, и я ушел.

Что такое порча?

Это целенаправленный энергетический удар, образующий пробоину в биополе человека. Такое воздействие можно сравнить с отправленной стрелой: она не только вонзается в тело, но и вызывает вполне определенные заболевания – в зависимости от того, каким ядом был смазан наконечник. Точно так же порча вносит в поле энергетический вирус того или иного недуга или целого комплекса заболеваний.

Как и в случае с обычным вирусом, энергетический начинает действовать не сразу, но утеря жизненных сил (утечка энергии) проявляется очень быстро. «Томление духа» также вполне характерно для порчи.

По каким еще признакам человек может определить наличие порчи?

Быстрая немотивированная потеря сил, неожиданно возникающие тяжелые заболевания, развитие воспалительных процессов, для которых не было никаких предпосылок.

К сожалению, самостоятельно человек избавиться от порчи не может.

Но, выбирая специалиста для решения столь ответственной задачи, учтите: лучше обращаться не к ясновидящим, а к биоэнерготерапевту.

P.S. Не помню, откуда я это выписал, но все – правда.

* * *

Многие авторы, занимающиеся данной проблемой, в своих книгах приводят примеры почти одинакового содержания: ехала молодая особа (девушка) в поезде, электричке, метро и в чем-то там еще. Тут к ней подходит тетя или дядя, бабушка или девушка, присаживается и заводит разговор: какая она, эта девушка, хорошая, какая она красивая, какая она славная, счастливая и т.д. и т.п. А сами как-то эдак посматривают на нее. И после, дома, ей становится, по ее признанию, ни с того, ни с сего – плохо.

Или... поселился в коммуналке новый сосед приторно-надоедливый, от посещений которого она становится, как говорится, – краше в гроб кладут.

Или... соседка по лестничной площадке – самая настоящая «ведьма проклятущая».

И множество других. Но... ни адреса, ни имен колдунов, ни самого процесса наведения порчи, нет.

Я же называю и адрес, и конкретные имена, и как «ЭТО» все происходит.

* * *

Пивоваров Сергей Петрович сделал мне подлость, и долго не приходил. Я и сам выбросил его из головы.

Ну что он мне?

Стихотворец он слабый. Стихи его мелкие, неуклюжие и корявые. И как человек он ничем не привлекателен и неинтересен. Слегка продолговатое лицо, как будто вырубленное не совсем правильно заточенным топором, с маленькими змеиными глазками, посаженными где-то в глубине черепа.

Работаю себе. Ни о ком и ни о чем не беспокоюсь. И все – славо Богу.

Но вот стук в дверь. Открываю.

Стоит Пивоваров с видом провинившегося щенка.

– Здравствуй, Никон Васильевич!

– Здравствуй, здравствуй. Заходи, коли пришел.

Зачем? Зачем я это сделал?!

Ведь человек, перешагнувший однажды нормы

человеческих отношений, перешагнет их и в другой раз, и в третий, и в четвертый... только представится удобный для этого случай.

И меня всегда настораживало его постоянное прихрюкивание. Скажет предложение-другое и хрюхрю, хрю-хрю. Было не очень уютно от этого хрюка, но подумал, бывает, что поделаешь.

А зря так подумал.

Но ему плохо. Он без работы.

Жена тоже не работает и не совсем здорова.

Семья на грани развода.

Успокаиваю. Советую не делать никаких резких движений. Все еще наладится. Все образуется. Сорок пять лет – не так уж и много. Главное, перетерпеть с двухтысячного по двутысячи четвертый годы, они самые трудные.

Всем своим знакомым я это советовал, не только одному Пивоварову.

А сам попался в том же двухтысячном году у того же самого Пивоварова.

* * *

Пришел пьяненький Пивоваров. Попросил на бутылку. Я дал. Он ушел и вернулся с ней (он часто приходил ко мне таким и за тем).

Пить я отказался. Он прикладывался один. И как «пьяный заяц во хмелю» мне соткровенничал: «Поддал я как-то крепко и пошел к Суханову (известному в Сургуте поэту) поговорить, стихи почитать, чтобы

он и во мне тоже признал поэта». То время еще не было временем террористов, бандитов и воров, в крайнем случае, не в таких масштабах, как сегодня, и поэтому подъезды и подвалы домов не запирались, и в них почти свободно можно было попасть любому. Вот Пивоваров беспрепятственно и подошел к двери квартиры Суханова и стал в нее стучать. Вечер был поздний и домашние Суханова (молодая жена и их маленький сынишка) уже легли отдыхать. Ни на какие угомоны через дверь Пивоваров не реагировал. Тогда поэт не выдержал, вышел и набил ему морду.

Но Пивоваров все равно похвалялся, мол, я тоже махал руками и, кажется, тоже пару разиков попал.

Господи! Почему я не смог его прогнать, пусть не так, как Суханов, а как-нибудь иначе. Зачем он был нужен, этот хмырь, всю жизнь то тут, то там отирающийся в сторожах и от безделья кропящий свои стишочки и сказочки, полные чушни болотной и всяческой галиматы. И это бы еще ничего, мало ли чем человек занимается, но он ими, своими «творениями», как отравой, потчуяет ребятишек в детских садиках, школах, на летних детских площадках с благословления неких административных дядь и теть.

Не хватило у меня решимости его прогнать, так у него хватило совести навести на меня порчу.

P. S.

И вот итог: Не делай добра – не получишь и зла.
Как это верно.

* * *

В Сургут по приглашению городских властей приехал Удинов (у них давняя дружба).

Организовали ему встречу с читателями в центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина, великолепной, недавно построенной, прекрасной как изнутри, так и снаружи.

Удинов решил удивить сургутян своими пародиями.

Читал он их длинно и нудно. Никто не смеялся.

Он в недоумении. Рассердился – не понимают. Отсталый народ.

За исключением Пивоварова, его выученика.

* * *

Пивоваров пригласил меня в гости, посидеть, чайку попить.

По дороге завел в видеосалон, купил там две касеты.

Приезжаем. Поднимаемся на девятый этаж. Заходим. Передняя просторная. Потолок высокий, направо столовая. Из столовой дверь на балкон. Вид на ГРЭС. Дальше, справа же – гостиная, за ней комната для взрослых. Налево – туалет, ванная комната и комната для детей с окнами на улицу. Хорошая квартира, современная, так называемого Ленпроекта.

Советская власть знала о ком заботиться.

В гостиной стоит шифоньер с книгами и всяким таким.

Под стеклом на средней полке стоит портрет. Такие портреты делали в пятидесятые годы. Ходили этакие портретисты по общежитиям и баракам и предлагали сделать портреты из любых, даже потерянных фотографий. И делали.

Ведь совсем недавно прошла война. Многие погибли. Многих она разбросала по всем уголкам страны. Остались какие-то фотокарточки, порой с еле различимыми ликами, хотелось их увековечить, улучшить, украсить – для памяти.

Но на этом портрете я сразу не разобрал, и трудно было разобрать без пристального внимания, мужчина это или женщина и что-то не совсем приятное, не совсем уютное исходило от этого портрета.

Я спросил: Это кто? Ты?

Он ответил: Мама.

И мне стало как-то неловко, не по себе.

Он поставил кассету в видеомагнитофон. На экране телевизора показались он и она, обнаженные, неопределенного возраста, с некрасивыми рыхлыми телами. Было пакостно, как будто неожиданно, вживе, стал свидетелем подобной мерзости.

Немного посидели, и я сказал: Зачем тебе это? Ведь у тебя две девочки, вдруг они увидят.

Досматривать все «это» не стал. Попрощался и ушел.

Больше я у него не был.

Зато он стал посещать мою халупу сверхчасто.

* * *

В любое время. В любую погоду. В дождь, снег, грязь, ветер (тогда дорог нормальных еще не было) он приходил ко мне и просил меня пойти вместе с ним в его гараж: то прикрыть там погреб, потому что мороз, то, наоборот, приоткрыть, когда теплело, то просто набрать картошки и овощей, там хранящихся, то помочь что-то сделать.

Я понимал, что человеку не совсем приятно одному плестись по непогоде и в темени, да и небезопасно и не мог ему отказать. И пока я одевался, он брал со стола ножницы (как будто я специально к его приходу выкладывал их туда), садился на мою постель и на руках подстригал себе ногти.

Я силился, но не мог сказать ему, что так делать нехорошо, что он не в парикмахерской и не у себя дома... и не мог, не мог и подойти и взять их у него.

Когда мы шли, он каждый раз неизменно заводил один и тот же разговор, что всюду «они», что кругом «они», что нет проходу от «них», что если бы ему..., то он бы ... И в таком духе.

Нет. Дай ему хоть что, он с «ними» ничего бы не сделал. Это он меня обрабатывал. И обработка в конце концов сыграла свою роль во время моей встречи с Ешимовым.

Придя домой после таких прогулок, я сметал в со-вок его ногти и смывал в унитаз. А надо было делать с ними что-то другое.

Когда он особо никуда не торопился, то придя ко

мне и проделав со своими ногтями, что он всегда проделывал, он начинал «восхвалять» меня. Какой я хороший. Какой я знаменитый. Что меня все уважают и кругом я вхож. Что я пинком открываю двери к любым начальникам и даже самым высоким. Что они помогают издавать мне книги. Что у меня прекрасная квартира. Что мне ничего не надо. Что у меня все есть. И т.д., и т.п.

Я невольно выходил из себя и начинал кипятиться, а он как бы не обращал на это никакого внимания, распалия и распалия меня все больше и больше. Я чувствовал. Я всем нутром чувствовал, что здесь что-то не так, что с этим надо покончить и ... ничего не мог поделать.

Только потом от целительниц я узнал, что так поступают колдуны и энергетические вампиры. Выводя человека из себя, они тем самым разрушают его био-энергетическую оболочку – ауру – и как насосом выкачивают из человека его положительную энергию, взамен заряжая своей отрицательной, отчего человек в конце концов перестает быть человеком, теряет память, становится легко управляемым и просто-напросто превращается в зомби.

Что со мной им и было проделано.

* * *

Пивоваров настолько заразил меня своей ненавистью ко всем и всему, завистью и злостью, что, зайдя в кабинет Ешимова и столкнувшись с ним у порога

лицом к лицу, и еще даже не поздоровавшись, я ему так и выдал, без всякого, конечно, какого-либо умысла, тем более, злого: «Кругом одни неруси сидят, ни хрена не дают работать».

Он выпучил на меня свои «шары» (глазами их назвать никак нельзя было), полные какой-то невыразимой водянисто-холодной ужасти, что, казалось, они вот-вот лопнут и эта ужасТЬ брызнет на меня, и только успел подумать: «Что это с ним, ведь так и глаза могут вывалиться из орбит? Что-то я не то ляпнул». И отключился.

Наверно, он вывернул меня наизнанку. Вытряхнул из меня все, что ему было нужно.

Запомнил я только несколько фраз, сказанных мной Ешимову: «Вот и Пивоваров советует мне уволиться», и – «Да я их «Ручейком» забросаю». Кого их? А «Ручеек» – недавно вышедшая в Томске небольшая книжечка стихотворений для детей.

Еще – в памяти каким-то образом запечатлелась рука. Всего одна рука в рукаве белой рубашки, подающая мне листок чистой бумаги. Бумага была хорошая, плотная, глянцеватая, и у меня мелькнула мысль: «Вот бы мне на такой бумаге приготовить рукопись».

Я взял этот листок и под диктовку Ешимова написал кому и от кого это заявление и огромными, почти печатными, буквами вывел:

«ПРОШУ УВОЛИТЬ».

Два слова. Всего только два слова. В то время (2000 год) это было равносильно «Прошу убить».

Но чья же это была рука ???

Странно, я написал не по форме, а оно прошло.

Даже начальник НГДУ, недавно назначенный, не вызвал меня для объяснений причины, как обычно делается в подобных случаях.

Кому я отдал заявление, я не помню. В памяти остался только чей-то голос: «Я сам его отнесу в контору».

И, видать, когда я отдавал заявление, то где-то в глубине мозга отпечаталось – темная стена, в середине стены вдруг отодвигается небольшой квадратик и на нем, как на белом экране, я вижу себя, тот я вскидывает руку к голове и говорит: «Господи, ведь я еще не женат», квадратик задвигается. И опять – беспамятство.

К тому же. Как в тяжелом тягучем сне, как в непроглядном тумане – после написания заявления я спросил у Ешимова: «А вдруг в цеху захотят узнать о причине?» Он посоветовал: «Скажи, что уезжаешь». И еще... После этого посещения, я каждому встречному и поперечному, каждому мало-мальски знакомому на их вопрос: «Где работаешь?» Отвечал, что с работы ушел и теперь займусь творчеством.

И это в России? В двухтысячном году! Когда и масститые поэты и писатели, чтобы как-то сводить концы с концами, бросали литературу и уходили промышлять в коммерцию. Когда в стране было не поймешь что. Мне-то без роду и племени, без мало-мальски сносного жилья, без семьи и денег, без под-

держки властей и без хоть каких-либо жиденьких спонсоров, куда было соваться в творчество. Да и не люблю я это слово. Я понимаю, когда огромные таланты, гении, там – творчество. А тут?! Я был просто заражен. Заражен основательно, что о такой «радости» даже позвонил знакомому москвичу, некогда помогавшему мне издать мои первые книжки. Не дослушав меня, он оборвал: «Дурак!» и бросил трубку. От этого его – «Дурак!» меня как будто пронзила молния: вошла в левую ключицу и вышла в правом подреберье. Тогда впервые в голове мелькнуло: Что же произошло? Как? Почему? В чем причина?

Нынче, после Николая Михайловича Рубцова нет никого. Все – беззубость, бесхребетность, бездуховность и явное тяготение к уголовной фене и откровенным скабрезностям.

Так о каком творчестве может идти речь.

Года через три или даже четыре после тщетных попыток найти работу в Сургуте и не только, после посещения целителей и молений в церквях, после моих метаний: Сургут – Новосибирск – Кемерово – Томск – Каргасок... и так несколько раз за эти годы, я решился-таки найти справедливость как последнюю палочку-выручалочку, то есть заявление-то мое было написано не по образцу (я это точно помню), значит, они не имели права его пропустить.

В каком тогда я был состоянии можно понять по этим нескольким строчкам из письма работницы районной библиотеки Каргаска, куда я приезжал как

бы на встречу с читателями; имени ее не называю, потому что упустил спросить на это разрешения.

«...Как Ваши дела? Как здоровье? Напугали Вы, Никон Васильевич, нас с тетей Элей зимой. Берегите себя. Мы беспокоимся о Вас и помним, только письма писать не любим...» (Эля – дочь бывшего директора нашего Усть-Чижапского детского дома).

В Новосибирске и Томске по моим письмам и моим приездам решили однозначно, что я на грани умирания. А друг никогда ничего подобного не признавал и был уверен, что это я сам себе все напридумывал.

С большим трудом и хождением по начальству мне все же сделали ксерокопию того моего заявления. Нет, вроде все по форме, хотя написано ужасным почерком. Должно быть, в цеху меня заставили переписать.

Все отношения с НГДУ «СН» (нефте-газо-добывающее управление «Сургутнефть») надо было прекращать – они бесполезны. Бесполезны стали и все отношения с самим ОАО «Сургутнефтегазом», где я проработал 26 лет и остался ни с чем: без работы, без семьи, без мало-мальски сносной квартиры и без всех видов на будущее.

Когда однажды, кажется, третьей целительнице, я, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, рассказал о своем злоключении, она сказала: «Ну вот, теперь у тебя ничего нет, так начинай жизнь сначала».

А как???

* * *

Я был совершенно разбит и раздавлен, но Пивоваров все равно меня не оставлял.

У него был отпуск, и каждое утро он приходил ко мне, забирал меня, и мы шли или к нему в гараж или ехали на его дачу.

Однажды, когда мы выходили из моей комнатки в коридорчике «хрущебы» я спросил как бы самого себя: «Кто это меня подвиг на увольнение?» Боковым зрением я увидел на его лице сатанинскую улыбку. Но ничего не смог ни сказать, ни сделать.

И лишь где-то в ослабшем моем сознании вновь промелькнуло то, что он проделывал у меня в комнатке, а я видел и не находил в себе сил, чтобы сказать ему об этом, хотя, ой даже, как к этому порывался.

* * *

В это утро Пивоваров зашел ко мне раньше обычного, чтобы с первым автобусом поехать к нему на дачу, хотя такой договоренности у нас не было. Что поделаешь, если человеку надо, если просит, почему бы и не помочь.

Он присел на край постели, поторапливает, а я поставил на плиту чайник (хлебнуть на дорожку), бегаю, собираюсь, что-то беру с собой там поесть.

Вдруг слышу чмоканье. Я посмотрел в его сторону.

Он был уже на корточках возле батареи с широко открытыми остекленелыми глазами какого-то не-

приятного холодного выражения и целовал свою правую руку, собранную в кулечок.

И хотя взгляд его был обращен в мою сторону, меня он не видел.

— Ню! Ню! Ню! — подносил он кулечок к губам.

— Колдует, гад, — мелькнула мысль, — ну, колдуй, колдуй.

Над ним находился настенный календарь с лицом Николая Чудотворца (моего небесного покровителя).

— Ничего у тебя не выйдет, а там посмотрим, — подумал я.

Нет, вышло у него, очень даже вышло.

Вернулись мы поздно, с последним автобусом.

Я слышал, что таким образом: сыпанием соли или сахара по укромным местам, а чаще за батареи и за диваны и наводят порчу.

Но я никак не думал, что это может случиться именно со мной, что это будет иметь такие ужасные последствия для меня.

Я взял мокрую тряпку и попробовал помыть за батареей.

Наверно, я сделал что-то не так. Наверно, мне надо было сделать соответствующий вывод и не пускать больше на свой порог этого беса.

Как-то я рассказал об этом одной из целительниц, и она спросила:

— А ты где календарь покупал?

Я ответил, что покупал его в книжном магазине.

– Надо было в Храме, – ответила она
Да, надо было в Храме.

* * *

Несколько дней Пивоваров ко мне не заходил, никуда не звал. Должно быть, закончился его отпуск. И вот как-то утром явился. Поздоровался. Сел на диван. Попросил чаю. Я приготовил. На табуретку перед ним, как обычно, поставил стакан и тарелочку с конфетами. Конфеты на этот раз он трогать не стал. Просто попил чаю. И все молчком.

Выходя из подъезда, обернулся и сказал: «Продай квартиру».

Мразь!

Он был уверен, что именно он, что по его колдовству, по его стрельбе газом под мою дверь и случилось со мной все это.

Да, он хорошо потрепал мне нервы, очень хорошо. И все же основной удар, удар почти смертельный нанес не он, а Ешимов, но с подачи его – Пивоварова.

P.S. По прошествии двух-трех лет, после моих мечтаний по родне и знакомым, после моих вынужденных убеганий из Сургута, на остановке «Бизнес-центр» захожу в автобус, следом Пивоваров.

– Здравствуй, Никон Васильевич, – здоровается, как будто никогда ничего не случалось, как будто он чист и невинен.

– Иди! Иди отсюда! Иди! – отмахиваюсь рукой.

Он сошел.

Но... через какое-то время в том же месте, почти в тот же час, захожу в автобус, и он за мной.

— Здравствуй, Никон Васильевич, — слышу за спиной его голос. Оборачиваюсь: А ну, пошел! Пошел ко всем чертям! — не выдерживаю я. Он попятился и задом сошел со ступенек. Больше на этой остановке мне он не встречался.

Что за человек? Я бы на его месте сквозь землю провалился, а ему хоть бы что.

Хорошо живется таким людям в России, вольготно. Совесть их не мучает.

* * *

Ешимов, не знаю почему, может, из скромности, говорил одним, что он казах (родился в Казахстане), другим, что он молдаванин (возможно, кто-то из его предков жил там).

И что-то, что-то не совсем обычное было в его разговоре. Он в отличие от Пивоварова не прихрюкивал, а прихихикивал. Скажет что-нибудь и без всякой на то причины хи-хи, хи-хи. Надо было серьезно к этому отнестись. А я посчитал почти по Есенину: «Поэт поэту есть кунак». Да нет, и он ошибался.

* * *

В тот день Ешимов был в хорошем настроении, что решил похвастаться мне своей кандидатской диссертацией. Назвал он ее так: «Боковой отбор кер-

на в процессе бурения без подъема инструмента», то есть колонны бурильных труб.

Еще когда я учился в Тюменском индустриальном институте (это 1960-е годы), нам читали курс лекций по данной теме и знакомили с электробуром, при бурении которым в предполагаемых интервалах залегания продуктивных пластов, можно отбирать пробы при помощи бокового отборника без подъема инструмента.

Ешимов же к своей диссертации приложил схему турбобура, в котором приспособление для бокового отбора керна выдвигалось не с помощью подачи к нему электрического сигнала, а с помощью подачи бурового раствора, на котором непосредственно идет бурение скважины.

Сомневаюсь, что такая постановка в науке о бурении нова, что она дает какой-либо экономический эффект и достойна присвоения звания кандидата технических наук.

К тому же, насколько я знаю, было необходимо изготовить пробный образец этого турбобура, проверить его в работе и только после этого решается вопрос о присвоении звания или в его отказе.

Однако... В наше время возможно все.

К своему стыду я тогда постеснялся сказать ему об этом.

И еще. Он добавил, что у него столько ракурсов предложений, что ими обклеены все стены туалета.

Должно быть, только на это они и годны.

* * *

Необычная манера здороваться была у него. Он брал мою руку, некоторое время держал ее, потом резко сжимал и только после этого медленно отпускал. Я каким-то чутьем стал догадываться, что это означает, но уже ничего не мог поделать, и каждый раз помимо воли своей приходил к нему как на очередную энергетическую дойку.

* * *

При каком-то моем посещении его я совершенно непроизвольно сказал ему после того, как с ним по здоровался: «Что-то я дилигирую».

Он не нашелся что ответить, но в его взгляде, в глубине его глаз я почувствовал как бы обеспокоенность.

Разговор не продолжился...

С выводами, к сожалению, я запоздал.

* * *

Я относился к нему как студент к студенту, хотя и как бывший к бывшему. Мне казалось, что существует еще в мире какое-то установившееся веками студенческое братство.

Да нет, чушь все это.

Ешимов был студентом (или старался казаться им быть), когда был студентом, но как только он закончил институт, он тут же превратился на 100% в того, кем он и является на самом деле.

* * *

Я уже был подвергнут и порче, и гипнозу и находился почти в полусознательном состоянии. Но это моих «друзей» устраивало не совсем. И вот среди ночи неведомая сила словно подбросила меня на постели и началась такая трясь, такая ломка, что я никак не мог понять, что это со мной? Какая тому причина?

Трясло всего, все тело, все нутро, от самых подошв ног до макушки головы. Было такое ощущение, что меня хотят вывернуть наизнанку, и тотчас весь я, весь-весь буквально, как коконом был обволочен чем-то липким и неприятным.

Все, что и мог я сказать, так это: Господи! Господи! Господи!

А те мои отпускные, весьма нечастые посещения церквей, для ограждения меня от подобного не смогли противостоять.

* * *

Как-то в конце мая Ешимов решил показать своим друзьям недавно приобретенную им дачу. Заехали и за мной по просьбе одной нашей общей знакомой.

Поехали на его машине. Иномарке. Какая-то японская.

Крепкий бревенчатый дом, баня, тоже бревенчатая. Рядом лес. Недалеко водохранилище ГРЭС-1.

Заниматься какими-либо огородными делами было еще рано. Просто приехали на выходные отдохнуть, поразлечься.

Я же в этот день был намерен очистить комнату от всего, что каким-либо образом могло рассказать обо мне. Все, на чем останавливался взгляд: накопившуюся рабочую спецовку, сапоги, валенки, одежду, книги, старые тетради, блокноты и т.д. – все это заталкивал в мешки, выносил и вытряхивал в мусорные баки.

До этого вместе с Пивоваровым уносили в его гараж с заверением, что когда мне потребуется, я возьму обратно. Но вскоре он мне сказал, что в гараже осталось мало места, и он больше не может от меня что-либо принять. И я стал выносить остальное как мусор.

Перекладина и бельевая веревка постоянно мешали перед моими глазами. И мне казалось, что это единственный выход раз и навсегда покончить со всеми волнениями и проблемами. И страха не было абсолютно никакого. До того я довыносился, что когда спохватился помыть пол, оказалось нечем...

Вся компания веселилась. Во дворе накрыли стол, слушали магнитофон, пели, прыгали, дурачясь, друг на друга, читали стихи, выпивали.

А мне становилось только хуже и хуже, хуже и хуже. Будущая супруга Сметанина советовала мне зайти в дом, лечь, полежать, что это у меня якобы от солнца.

К тому времени я уже стал догадываться в чем причина такого моего состояния. Я все больше убеждался, что все, что со мной произошло, произошло именно в тот день, у Ешимова, в его кабинете.

И сегодня сюда он согласился прихватить меня с единственной целью: еще более усилить свое воздействие на меня, еще более додавить мою волю и психику.

Возвратился я окончательно разбитым.

* * *

Из Ханты-Мансийска с совещания окружной писательской организации мы возвращались вдвоем с Ешимовым.

Наши сургутские Суханов и Сметанин остались там гостевать.

Прилетели.

В аэропорту Сургута Ешимова встречал его сын, на машине.

Я уже знал, кто такой Ешимов и старался держаться с ним на некотором расстоянии (после узнал, что таким расстоянием должно быть не менее полутора метров). И даже такое общение с ним, как «здравствуй» и «до свидания», а еще и рукопожатие, мне было неприятным, и я чувствовал, что он сам догадывается, почему у меня к нему такое отношение.

Я пошел было на автобусную остановку, но Ешимов вызвался меня подвезти. Отказаться было неудобно, да и время уже позднее. Я согласился. Когда к нему подходил, я услышал как сын Ешимова говорил ему, что в Павлодаре умер его младший брат от рака.

Конечно, печально, когда кто-то умирает, даже и незнакомый, но тут, где-то глубоко в душе, в ее самом

потаенном уголке зашевелился маленький червячок злорадства: «А-а-а, живет в твоей крови рабоч! Вот почему ты так стремился вытряхнуть из меня душу, чтобы душу своего умирающего братца поменять на мою, и таким образом он бы выздоровел, а я умер. Не вышло! И не выйдет...»

Доехали молча.

Только позже я все-таки решился не подавать Ешимову руки. Набрался решимости и сказал ему об этом. И, кажется, с того самого момента тихонечко я стал идти на поправку.

P.S.

Мало кто верит в существование в человеке души. Не стану говорить за всех, скажу за себя, душа в человеке есть. Более того, уверен, что может происходить (и происходит) переселение души одного человека в другого и не всегда после ухода из земной жизни его обладателя и по велению высших сил. Нередко, а, может, и чаще оно происходит под воздействием сил злых, темных, слуг Сатаны Дьявола – бесов.

Мы привыкли думать, что бесы обитают только в сказках и книжках, в нашем воображении. Да нет, бесы живут и среди нас, имея, к сожалению, человеческий облик. И чем больше зла бесы натворят в человеческом мире, тем выше поднимается их рейтинг в мире бесовском. Но... Бог шельму метит. Пусть небольшая, но отличительная черта от нормального человека у бесов есть, к примеру, хи-хики и хрю-хрюки.

* * *

Вдруг неожиданно замечаю, что на моих руках появились длинные седые волосы. Меня это тревожно озадачило, ведь до этого времени мне нравилось носить рубашки с короткими рукавами, нисколько не стесняясь своих рук.

Но когда я взглянул на свои пальцы, я пришел в ужас: на них – между подушечками и ногтями образовались какие-то грубые ороговелые наросты, почти как копыта, а на больших пальцах они были особенно небывалых размеров, к тому еще и с трещинами чуть ли не до самых костей. Было так больно, что я ничего не мог взять руками.

Я испугался не на шутку, я был просто потрясен. Я слышал и раньше, что существуют люди-оборотни, которые в какое-то время могут превращаться в животных (в основном, хищников): волков, росомах, котов, кабанов и т.д., во что одновременно и верил, и не верил. Но тут воочию по чьей-то воле я сам стал превращаться в, Бог весть, какую зверюгу. Буквально на глазах я поседел, постарел, подурнел. Тут еще объявили о замене паспортов в ограниченные по времени сроки. И я решил занять себя хотя бы этим. Я фотографировался в пиджаке и без пиджака, в галстуке и без галстука, менял рубашки, старался придать лицу подобающее выражение, заходил в разные фотоателье, но всегда на карточках получался как законченный идиот.

Я был до предела растерян, я не знал, что делать, к кому обратиться хотя бы за советом, не говоря уж о помощи, кому рассказать о том, что со мной произошло.

Кто может поверить этому?

Я ничего не соображал.

Страх и ужас обуревали мной.

И этот запах из-под двери, эта трясь, как будто внутри и снаружи всего меня шла жестокая борьба, и весь я, от головы до ног, был покрыт каким-то липким, холодным, до тошноты неприятным, потом.

Я боялся, вернее, стыдился выйти на улицу, мне казалось, что все станут показывать на меня, дескать, вон тот, который скоро станет зверем, и когда, случалось, я выходил, я не решался смотреть людям в глаза, я брел, почти не соображая куда и зачем, бормоча как заклинание: «Господи! Как же так? Как же так, Господи? Господи! Как же так? Как же так, Господи?»

В голове неотступно вертелось: «Только бы не сойти с ума, только бы не инфаркт и не инсульт».

А в особые минуты, когда мне казалось – все, точка (может, это кощунственно), я обращался к небу: «Господи! Если я виновен, то пусть мне будет еще хуже, а этим (колдуну и гипнотизеру), пусть будет по совести...»

Хотел помыться, как раз отключили горячую воду, а котельные поставили на летний профилактический ремонт. Пошел поискать баню, все сургутские бани были закрыты.

Я почти ничего не ел, только иногда по глоточку — другому выпивал воды.

Как-то, в отчаянии, зашел к одной знакомой, она работала в газете и сама некогда в молодости писала стихи; рассказал ей об этом, сбиваясь и перепрыгивая с одного на другое, она не предполагая ни на кого, сразу же, еще не дослушав, сказала, что это Ешимов. Я стал мысленно, что помнил, прокручивать в голове, что со мной произошло: Да! Ешимов приложил к этому свою долю способностей — гипноз. И посоветовала мне подать на него в суд, чтобы восстановиться на работе и вообще — реабилитироваться.

Но как? Как это сделать?

Он занятой человек. У него есть работа, хотя с прежнего места поспешил уйти, боясь, вероятно, что когда я приду в себя, явлюсь к нему для разборки. У него семья. Он кандидат наук (по моему мнению абсолютный плагиат, об этом я уже сказал). Член Союза писателей России (может, не совсем заслуженно, а, может, совсем незаслуженно), но все-таки.

И ведь это я дал ему рекомендацию в Союз писателей, не по своей инициативе, конечно, но по просьбе одного москвича, издателя, с которым я его и познакомил.

И это ведь меня в каком-то стишке он назвал своим учителем.

Ну, что ж, это еще одно доказательство того, что у подобных ему людей предать учителя — верх всего самого-самого-самого.

Однажды на заседании литературного клуба «Северный Огонек», куда я еще ходил, чтобы хоть какое-то время бывать на людях, Ешимов прочитал стишок о каком-то мужчине, который такой и сякой, и что в итоге Бог не дал ему наследника.

Мы сидели на разных концах, сдвинутых в длину трех столов, но он читал достаточно громко, чтобы и мне было слышно.

Я понял его якобы «тонкий» намек, но ничего не мог ответить, ибо был в таком состоянии, когда мне казалось, что петля – единственный правильный и быстрый выход в один момент решить все свои создавшиеся проблемы.

Одна дама, тоже сочиняющая стихи и разбирающаяся в «подобных» делах, вероятно, поняв, что со мной что-то неладное, выразила желание помочь, но провела всего одну встречу. Посоветовала в двенадцать часов ночи проделать какую-то манипуляцию (сейчас уже забыл) с листочком бумаги, на котором написать имя предполагаемого автора порчи, якобы должно помочь, и сказала, что «Это» у меня будет в течение пяти лет.

Сразу скажу, что она оказалась права. Года три в башке только и крутилось: как мне привести в исполнение заданную моими «друзьями» программу.

И только чудом, чудом, чудом я этого избежал, еще жив и пишу эти строки. Мне было плохо. Очень плохо. Я был, что называется, на грани... В отчаянии я

как-то набрался духу и позвонил в Новосибирск сестре Наташе с просьбой, чтобы они вывезли меня из Сургута. Прилетел муж дочери Наташи, моей племянницы.

Там они были страшно поражены моим видом, помня меня прежнего, неунывающего оптимиста. На их расспросы я ответил, что не знаю, что буду делать, но в Сургут я уже не вернусь никогда, ни за что. А с квартирой и всем, что там осталось, пусть будет что будет.

– Дядя Коля! Дядя Коля! Что ты! Что ты! – удивились они. – Поживи у нас. Отдышись. Приди в себя. А квартиры не бросай. Она же денег стоит.

После мне говорили, что это у меня сильный небесный покровитель – сам Николай Чудотворец и ангелы-хранители, которые мне являлись еще в детстве.

И я подумал: «Нет, надо что-то делать, как-то шевелиться, и первое – пойти в церковь. Помолиться (как сумею), поставить свечи».

И попробовать обо всем написать, а начать с детства, о чем еще помнится. И взялся.

Я нескованно благодарен одной замечательной особе из Сургута, кто в моем тогдашнем ужасном состоянии бескорыстно переводила мои каракули на компьютерный язык.

Так появилась небольшая книжка об Усть-Чижапке и Усть-Чижапском детском доме – «Периферия», изданная в Томске в 2005 году.

* * *

Здравствуй Коля!

Получил твою бандероль с книгами. Благодарю. Адресованную мне книжку прочитал в нетерпении два раза подряд. Мне понравилась. Которую подписал нашим друзьям – Некрасовым, Ирине и Владимиру Ильичу, подберу случай и передам. Теще тоже книжка понравилась и она просила тебе это передать. Так что – передаю. Свободные стараюсь подсунуть для прочтения своим родственникам и по работе. Пока и те и другие отнекиваются, мол, читать нет времени.

Ты, наверное, желал бы знать мое мнение. Мое мнение такое – молодец, правда, я даже над кое чем прослезился, вспоминая наше детдомовское житьё-бытьё. Конечно, ты как человек творческий, вправе писать то, о чем находишь нужным, но, не обижайся, Коля, в ней совсем нет негатива (плохих сторон). А ведь оно было. И было в достатке. Может быть, ты уже не захватил то время, когда мы полностью, каждое лето проводили на Успенке – нашем подсобном хозяйстве, ухаживая там за огородами и всякой живностью, и было это без всяких маломальских удобств. Мылись в Васюгане. Там же, когда купались, стирали свое бельишко. Почти все поголовно болели лишаями и цыпками. И вшивели, чего уж тут. И воспитателей своих бывало страшали – что вот приедут проверяющие, мы все им расскажем, и т.д. Но это я так.

Ты прав, пожалуй, что не все надо тискать на бумагу. В общем, я рад за тебя, говорю как друг, искренне

и без всего такого. Благодарю и за то, что упомянул моё имя.

Теперь – на твой вопрос, почему меня в детдоме звали Олегом, а не Альбертом, как записано в документах. Я помню, что меня маленьким называли то Аликом, то Олегом. Наверное, считали, что это одно и то же. Меня даже и сейчас преследуют сомнения, а сама мать твердо ли помнила, как меня назвала. Забегая вперед, вспоминаю, что когда меня Евгения Александровна Гришаева, наша воспитательница, привезла в Томск и передавала матери, мать воскликнула: «О, Олежка!» На что Евгения Александровна возразила: «Не Олежка, а Альберт Александрович Бударин». Так вот, поначалу в детдоме я откликался и на Алика и на Олега. Но однажды меня пригласили к директору и дали мне для ознакомления мое «личное дело». Там были все документы на мое имя, в том числе метрики, письма от матери и тети Зины с фотографиями. Я прочитал письма, посмотрел фотографии и заглянул в метрики. В метриках я с ужасом обнаружил, что мое имя – Альберт.

Почему с ужасом? Да потому, что в нашем детдоме были две сестры по фамилии Альберт. Одну из них звали Агаша. Так вот эту Агашу все (во всяком случае пацаны) ненавидели лютой ненавистью. И мне казалось, что если узнают мое настоящее имя, то и меня возненавидят, потому и скрывал его. Даже на левой руке, на запястье, сделал наколку – Олег. Эта наколка только в армии у меня окончательно сошла.

Кстати, о любви и ненависти. Известно, что в детстве, кого мы сильней любим, тому больше и чаще доставляем неприятности, чтобы этим завуалировать свою любовь. Ведь они обе, сестры Альберт, были красивыми девчонками, кудрявые брюнетки, не то еврейки, не то немки. И обе учились на отлично, особенно Агаша. Может именно за это ее и ненавидели.

Помнишь, как после просмотра кинофильма «Тимур и его команда» весь детдом разделился на Тимуровцев и Квакинцев?

У ней, у Агаси, на самой макушке не было волос с десятикопеечную монетку, и она тщательно это место старалась скрыть. Потом, когда я был на практике на заводе «Сибэлектромотор», встретил там одну из сестер, не помню какую. Мы с ней поговорили о том, о сем, и о детском доме тоже. И в ходе разговора я посетовал, что у меня нет детдомовских фотографий. На другой день она мне принесла одну или две. С именами Олег и Альберт вышел и такой курьез: окончил техникум, нам раздают дипломы. Секретарь зачитывает фамилию, имя, отчество, а директор вручет. Очередь доходит до меня. Секретарь читает: «Бударин Олег Александрович». А я, почти как наша Евгения Александровна моей матери, говорю: «Не Олег Александрович, а Альберт Александрович». Секретарь аж побледнела, мол, ты что такими вещами шутишь, Олежка? Я настаиваю на своем. Она аж запричитала: «Где я теперь новый диплом возьму, в

Совнархозе строго по списку выдают, а исправлять в дипломе нельзя».

В итоге, она попыталась вывести Олег яичным белком. Это у нее плохо получилось, и она с боку написала: «Исправленному имени Альберт верить», поставила еще одну печать и мне вручила. Потом у меня были сложности при поступлении в институт и на работу.

Так что, Коля, ты тоже определись, кто ты – Коля или Никон.

Ладно, заканчиваю. Еще раз поздравляю тебя с книжкой и с днем рождения.

Будь счастлив!

Альберт.

* * *

Подумалось и самому, что книжка, может, и вправду не очень плохая, и решил хотя бы строкой телеграфа добежать до нашего смутного времени.

И вот, вроде итога, тоже – Периферия.

* * *

Через какое-то время, возможно, в течение года, на «Северный Огонек» Ешимов пришел с одной еще довольно молодой особой.

Сначала я подумал, что она его супруга, но в их отношениях этого не чувствовалось, потом, что она новенькая поэтесса, оказалось, и не это.

Они сели со мной за один стол, через угол. И буквально в считанные минуты я почувствовал на себе ее взгляд и обернулся в ее сторону. Наши взгляды

встретились и на какое-то мгновение задержались. После этого я невольно отвел глаза.

Побыв еще немного времени, она поднялась и вышла.

Больше я ее не встречал.

Должно быть, где-то в глубине ешимовского нутра совестишка все-таки проснулась, и он решил, если теперь с меня уже полностью не снять ранее сделанную им «установку», то хотя бы ее смягчить.

Какими способностями обладала эта молодая особа, сказать не могу, какого-либо облегчения после ее прихода я не почувствовал.

Только церковь, молитва, время и все-таки, возможно, целители как-то смягчили мое безысходное отчаяние.

* * *

При нашем знакомстве я подумал, что Сметанин – это его псевдоним. Нет. Оказалось, он такой и есть. В его манере и во всем его облике было что-то от героя Салтыкова-Щедрина. Разговаривая с вами, он как бы слегка приглядывался к вам правым глазом, как бы слегка прислушивался к вам правым ухом и даже как бы слегка принюхивался к вам правой ноздрей.

Но... тоже поэт.

* * *

Во времена разгорания очередной Русской смуты, это 1990-е годы, когда власть в стране захватили ла-

боранты и младшие научные сотрудники, а все, что было создано народом за его многовековую историю, включая и недра, прибрали к рукам криминальные авторитеты, партийные и комсомольские боссы.

Когда от верху и до низу шла трепотня, какой вид правления после развала СССР (Союза Советских Социалистических Республик) мы должны избрать, когда Ельцин, как площадной петрушка, кривлялся с трибун перед многотысячными толпами, обещая этим толпам прямо тут же, в сей час чуть ли ни манну небесную.

А чуть позже, в 1993 году, в центре Москвы на глазах у всего мира устроил расстрел из танковых орудий Белого дома, то есть Дома Правительства, заодно уничтожив и часть этой самой, некогда им одурченной, толпы.

Когда откровенно и открыто стали процветать насилие, грабеж и русский народ как нация поставил себя на грань полного исчезновения с лица земли, и он, Сметанин, и я, встречаясь, не могли не говорить об этом.

И как-то я ему сказал, что мы (Россия) сегодня находимся в таком положении, когда снова надо пойти к варягам с поклоном прийти к нам и царствовать нами, ибо:

Страна наша богата,
Порядка только нет...

А.К. Толстой

Потому что среди нас нет на сегодня того, кто бы мог управлять страной и вывести ее из тупика, в чьих руках сосредоточилась бы вся власть, что по сути дела нужен монарх, царь.

Но, кто?

На эти мои разглагольствования Сметанин выкрикнул (в нетерпении):

— А почему бы не я!

«Зачем тебе это,

Ведь ты считаешь себя поэтом,» —

сказались мной в рифму неуклюжие строчки.

Наступило неловкое молчание.

* * *

Позвонил Сметанину вечером, попросил его разрешить мне еще одну ночь провести у него, потому что в моей халупе из-за моего ужасного состояния и этих чудовищных запахов из-под двери невозможно было находиться даже и некоторое время.

Он согласился.

Я пришел. Принес с собой простыни и наволочку. Он и его невеста собирались идти к ней. Я стал навязываться их проводить, так как одному мне было ужас как не по себе.

Им было не до меня, но все-таки позволили.

На улице шел дождь, небольшой, предосенний, еще теплый.

Лужи и мокрый асфальт были забрызганы огнями уличных фонарей, реклам магазинов и офисов. Мок-

рые вечерние деревья стояли недвижно, как декорации. Было тихо и грустно. И я невольно сказал:

– Мне плохо. Меня зомбировали.

Сметанин промолчал, а его невеста сказала мне на «Вы»: «Вам надо лучше питаться».

Как будто все наши беды лишь в том, что мы жуем, а не в тех, с кем рядом живем, в тех бесах, кто напялив личину благородства, лезет к нам в друзья, чтобы достигнув нашего расположения, нас же и уничтожить, в прямом и во всяких иных смыслах.

Мы шли неспешно. Погода к этому очень даже располагала. И когда дошли до ее дома, она пригласила меня поужинать вместе с ними. Я согласился.

После ужина, по ее просьбе прочесть что-нибудь, я прочитал на память два стихотворения из студенческой поры, в книжках моих не публиковавшиеся. Это – «Молот» («Молот бей по наковальне») и «Романтики» («Девчонки с косичками в бантиках»).

Вроде, не стушевался, нигде не запнулся, ни на одной строке, даже сам удивился.

Время было уходить. И я ушел.

И я им был благодарен.

* * *

Однажды стояли Сметанин, я и еще несколько человек наших знакомых. Вдруг, ни с того ни с сего, Сметанин говорит: «Иду как-то возле общежития (он имел ввиду общежитие №2 первого управления буровых работ по улице Энтузиастов, 35, где я жил це-

лых пятнадцать лет) и вижу — на скамейке лежит кто-то пьяный. Пригляделся — Сочихин.

Что он этим хотел сказать?

Кому?

* * *

Еще одну тревожную ночь провел я у Сметанина.

Утром он пришел. Взял бумаги. Спешил, вероятно, у него где-то было назначено выступление.

Я пошел его проводить до автобуса, не хотелось идти в свою вонючую халупу. На автобусной остановке я не выдержал и сказал ему, что вот такой-то, наш знакомый, советует мне отдать все мои книги, и авторские, в библиотеку, а самому идти в дом престарелых.

Я надеялся вызвать у него хотя бы сочувствие, но он сказал:

— А что! Ты знаешь, там хорошо. Я там выступал. Там чисто. И кормят.

Нет! — закипаю я, — пусть я буду ползать на четвереньках между грядок, но туда не пойду, никогда.

И пошел от него.

* * *

В последующие разы я ночевал у Коли Б. в его каморке. Он, как ворон, издалека почувствовал падаль и прилетел. К тому времени я уже несколько дней не выходил на улицу, мне казалось, что все вокруг узна-

ли, что я теперь без работы и думают обо мне как о конченном человеке, бомже и биче, и, кроме всего прочего, что-то замышляют на мой счет.

Я боялся выйти из дома еще и по той причине, что на меня навалилась мужская проблема (уверен, не без «помощи» Ешимова) – я просто не мог отойти от туалета. Уроню капельку, что называется, со слезами на глазах, вроде полегчает, только отойду, опять такое состояние, что вот-вот и уже не удержусь, но снова только капелька. И так целыми днями. Ешимов от радости, что ему удалось со мной ЭТО проделать, даже сочинил стишок, не преминув выразительно прочитать его перед «огоньковцами» на одном из заседаний клуба.

Мне не давал покоя и этот запах. Что за запах? Откуда он? Невозможно было находиться в комнате не то что постоянно, но даже и какое-то время, как будто десятки, сотни котов забрались в мое горло и осторвлено дерут его изнутри. Я сделал себе лежку на кухне, положив деревянный щит на плиту и тумбочку, закрывал на ночь дверь и открывал форточку, но это мало что давало. Обнюхал все углы, все плинтусы, оказалось – из-под двери, внизу, где угол двери подходит к косяку и где давным-давно, еще до моего заселения, мыши прогрызли себе ход. Вот сюда-то и выстрелили газом.

И ведь я все собирался эту дырку заделать. Вот и дособирался. Когда я о своих подозрениях сказал одному моему знакомому, у которого ночевал не-

сколько дней, он ответил: «Да, полно. Кому ты нужен. Это, скорей всего, ребяташки.»

Какие ребяташки? Они не способны на такое. Я им ничего плохого не сделал. Даже, когда некоторое время тому, они, играя в футбол, мячом разбили мое окно, я на них не орал, не отобрал мяч, а просто посетовал им, что, где теперь мне найти такое стекло. Ведь это было время пустых полок и повального подозрения всех и вся в терроризме, и целую зиму, до весны та часть окна была завешена одеялом, а потом забита фанерой.

Я нисколько ни тогда, ни сейчас не сомневался, кто это сделал. Только один из моих, так называемых друзей, был способен на это. Только он работал сторожем, и только у него был на вооружении газовый пистолет.

И ребята здесь ни при чем...

И вот Коля объявился.

Как раз я подъедал последние картофельные очистки, еще почему-то не выброшенные мной.

Я дал ему денег купить что-нибудь поесть. Он попросил и на «чикалик». Я дал и на «чикалик». После «трапезы» он вывел меня на прогулку в парк Нефтяников, что рядом с моим домом, чтобы при необходимости я мог спрятаться за дерево.

На прогулке я рассказал ему о своих злоключениях, и он согласился, чтобы я спал у него. Потом он пошел по своим делам, я возвратился к себе.

Вечером мы вместе отправились к нему, где в близстоящем киоске купили какую-то снедь, чтобы перед сном немножко перекусить.

Все его жилище состояло из бывшей кладовки, шириной в дверной косяк, длиной в кровать и ящик, на которые были свалены его вещи. Вдоль стены, что напротив двери, стояли самодельные стеллажи, заваленные газетами. Этих газет было такое множество, что кроме стеллажей, они лежали на кровати, на полу, на окошке, на ящиках... всюду.

— Зачем тебе столько? — спросил я, — выброси хотя бы половину.

— Нет, — сказал он, — это богатейший материал для моей книги. Здесь хватит на несколько томов.

Справа окно, рядом еще один ящик, на ящике электрическая плитка. И ни умывальника, ни туалета, ни ванны. Кто и когда его туда поселил, я не спрашивал, да и не важно, факт тот, что он там жил.

Когда-то Коля работал фотографом в многотиражной газете «Сургутнефтегаза» «Нефть Приобья». Потом еще где-то, потом...и по эту пору — нигде. Просто невероятно.

Когда время пошло к ночи, газеты начали шуршать и шевелиться от несметных полчищ тараканов, всяких разных, от огненно-рыжих до темно-бурых и даже черных. Они вдруг выныривали из глубин одних газет и тут же погружались в недра других, как будто у них начиналось вечернее хождение по гостям. Противозы. Я и так брезглив, а об этих тварях — особенно.

Но... ночь берет свое, и мы начали укладываться. Я на кровати (Коля удружила ее мне, как «уважаемому им поэту»), а сам стал умащиваться у дверей на ящиках, набросав на них свои одежки. Когда мало-помалу мы умостились, Коля стал посвящать меня в курс своих планов, как он однажды собирается и засядет за написание своей книги, которая будет всем книгам книга. Тут из-за стенки, где шла возня с уросившим ребенком, послышалась просьба, чтобы мы перестали «орать», а мы и так говорили совсем шепотом.

Рано утром, едва рассвело, я отправился к себе (разве в этом тараканнике поспишь?), чтобы почистить зубы и сполоснуть рожицу. Через какое-то время пришел и Коля. Я опять дал ему на еду и его «чикалик». Потом он снова вывел меня на прогулку.

И так продолжалось... даже не могу сказать сколько дней.

Однажды промозглым вечером, когда мне было особенно невыносимо, когда в моей голове неотвязно вертелось: «Как? Каким способом раз и навсегда покончить со всем этим», – пришел Коля, чтобы забрать меня. Я сказал не столько для него, сколько для самого себя: Может остаться здесь, закрыть окна и двери, открыть газ – и никаких проблем. Или взять веревку – и на перекладину.

– Что ты! Что ты! – закричал он, – лучше квартиру продай и отправляйся путешествовать.

– А потом? – спросил я.

— А потом ничего и не надо, — засмеялся он каким-то неприятным, вязким смешком, — у меня есть знакомый милиционер, он поможет продать.

Нет, — все-таки прояснилось в моей голове, — если через милиционера, то можно лишиться не только этой халупы, но и самой головы и отправится сразу в свое последнее путешествие... в сторону аэропорта (на кладбище), или в психушку, наверняка.

Господи, что делать? Что делать? Надо бежать. Бежать из Сургута. Но куда? Куда бежать?

* * *

Он (Пивоваров) пригласил меня на встречу с детьми в восьмую школу, где была организована летняя площадка для учеников, оставшихся на летние каникулы в Сургуте.

Собралось ребятишек тридцать-сорок.

Сначала выступил Пивоваров, прочитал свои стихи и даже провыл какую-то песенку. Потом раздал свои книжки и представил меня.

Я прочитал стихи из книжек «Ручеек» и «Кораблик» и еще несколько из неопубликованных и тоже раздал книжки, что принес.

К «Ручейку» и «Кораблику» картинки рисовали ребята из Центра детского творчества. Картины были в акварели, и книжки получились живыми, яркими и красочными.

Но читал я не очень хорошо, не вдохновенно, и это я чувствовал, чувствовал и слабо скрывающие

злорадство взгляды Пивоварова в мою сторону. При том мне приходилось постоянно смачивать языком нижнюю губу, пораженную небывалых размеров герпесом, чтобы он не так был заметен.

И еще... я до головной боли напрягал мозги, стараясь не упустить ход давно знакомых стихов, и чувствовал, что я не осмысливаю то, что читаю.

Когда я поблагодарил ребят за встречу, поднялся Пивоваров и сказал: «Чтобы издавать вот такие книжки (он имел в виду «Ручеек» и «Кораблик»), нужны деньги, а их у меня нет».

Я было вознамерился сказать ему, что для этого надо работать, а не сидеть в сторожевой будке.

Мелькнула мысль: так вот почему ты так долго и упорно наводил на меня порчу и постоянно советовал мне уволиться, бросить работу, твердил, что меня с моим-то опытом и образованием везде возьмут с руками и ногами, что нефть не только в «Сургутнефтегазе». Это ты заботился не обо мне, ты хотел, чтобы и я оказался в таком же положении, как ты, а может, и в еще худшем. В чем ты и преуспел.

Но... промолчал.

* * *

После того вечера, когда я под моросящим дождичком провожал Сметанина и его невесту, через какое-то время (может, около полугода) мне по телефону прочитали стихи Сметанина, якобы пародии на членов литературного клуба «Северный Огонек»,

которым он руководил, и на меня. Меня он поставил первым – удостоил чести.

Поместил он эти «шедевры» во всемирной паутине – Интернете – на своем сайте «Поэзия земли Югорской» за 04.11.2003 года.

Здесь я привожу только ту его «вещь», которую он посвятил лично мне.

Называется она так:

Если друг к вам пришел как друг...
(пародия на Н. Сочихина)

Если друг к вам пришел как друг,
А обратно ушел как враг.
Выпил до суха весь коньяк,
А говорил – за народных слуг.
Значит, и вы для него – никто.
А не то еще – брен в пальто.

Когда я слушал эту чушь болотную, я надеялся зацепиться хотя бы за одну яркую, запоминающуюся строчку, которая бы зверски обыграла какую-нибудь из моих стихов.

Но... даже и малости, напоминающей что-то подобное, я не услышал и, кроме презрительности, ничего иного эти шесть сметанинских строчек во мне не вызвали.

Не станем разбирать это «творение», а лучше определим, что же такое – пародия?

Смотрим словарь.

«Пародия – шуточное подражание, воспроизвождющее в преувеличенном виде характерные (подчеркиваю – характерные) особенности оригинала.

Смешное подобие чего-либо.

Основное средство пародии – ироническое подражание осмеиваемому образцу, при доведении его до абсурда, нелепости».

А то, что сей Сметанин написал, не пародия, а пасквиль.

Теперь посмотрим, что такое пасквиль.

«Пасквиль – произведение, содержащее заведомо ложные нападки, клевету.

Пасквилянт – синоним лжеца, негодяя».

Ни одного моего стихотворения, ни одной строчки, ни даже мелодии какого-нибудь моего стиха он не спародировал.

И все же, если допустить, что эта «бяка» пародия, то это пародия на Владимира Высоцкого:

«Если друг оказался вдруг...»

Но скорее всего на самого автора, то есть на Сергея Сметанина.

Поэзия, как таковая, у него в доме не только не ночевала, но даже и близко под его окнами не проходила.

Так о чём говорить?!

* * *

Недавно мне попалась на глаза поэтическая книжка Сметанина Сергея Егоровича «Роднее не найду», изданная в Шадринске в 2005 году. Взял посмотреть, интересно все-таки узнать, чем дышит наша сургутская знаменитость.

Перевернул несколько страниц – ну, вот, опять посвященное мне стихотворение – неймется же человеку.

Сметанин, Сергей Егорович, не посвящай мне больше своих стихов, а то как-то неудобно, все мне да мне. Адресуй их лучше своим истинным друзьям: Пивоварову и Ешимову, тем более, что с ними у тебя много общего: и в смысле построения фраз, строк, в подборе слов, и в самом написании стихотворений, и даже в понимании того, зачем и для чего писать.

А с Сергеем Пивоваровым ты, Сергей Сметанин, вообще на одно лицо, только он с волосами на голове, а ты без волос.

И если под твоими стихами поставить фамилию Пивоварова, а под его стихами твою, никто подмены и не заметит, настолько вы идентичны...

Для читателей альманаха привожу исключительный сметанинский «шедевр», мне преподнесенный.

Никону Сочихину

На пруду нынче к вечеру славно,
Разгулялись березы, горя, –

Проплывали печально и плавно
Золотые дары сентября.

Детвору привело в восхищенье.
Как по берегу бегал щенок,
Лапой лунное гнал отраженье,
Но достать его так и не смог.

И внимательно глядя на воду,
Ты молчал, мой талантливый друг:
Нет природному золоту ходу
В шелухе постмодерна вокруг...

Не грусти. Не грусти хоть сегодня!
Роковой не буди ты вины...
Что искать в себе дара господня,
Что ловить отраженье луны!

А теперь попробуем эту вещь руководителя Сургутского литературного клуба «Северный Огонек» разобрать, посмотреть, чему он может научить своих подопечных.

Первое общее впечатление – ничего особенного, вполне в духе его друзей: такая же простоватость, пустоватость и неуклюжесть.

Вот первая строка, открывающая стихотворение.

На пруду нынче к вечеру славно.

Совершенно ничего не говорящая читателю строка. Даже не определено время действия. К вече-

ру! Это когда? К четырем? К пяти? К шести? К семи?.. А, может, к восьми, девяти и далее, ведь в Сибири не только летние вечера светлы и продолжительны, когда почти по Пушкину: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», но и сентябрьские в пору бабьего лета не намного уступают им, просто они несколько загустеют и охолодят.

А к чему эта буква «К»?

Я хорошо помню, в какой моде была буква К в Хрущевские времена: К 1970 году мы построим базу коммунизма. К 2000 году каждой советской семье отдельную квартиру и т.д. Здесь буква К обозначала обращение к будущему.

И в этой, приведенной выше строке, буква «К» тоже обозначает обращение к будущему, но последующие три строки четверостишия поставлены им (автором) в прошедшем времени. В итоге получилось прошедшее в будущем. Что-то новое.

Может быть, лучше букву «К» просто убрать и написать:

На пруду нынче вечером славно.

Получше, но все равно строка слабая.

Вторая строка этого стихотворения:

Разгулялись березы, горя.

Да! Березы горят, увядают, впору пожарных вызывать, а они «разгулялись», то есть развеселились, расходились, у них праздник – они горят!!!

Третья строка.

Проплывали печально и плавно.

Только что было сказано во второй строке, что в природе праздник, аж «разгулялись березы» и тут на тебе – «печально и плавно» и еще «проплывали».

Четвертая строка:

Золотые дары сентября.

Потуги на красоту, не более.

Далее, построчно разбирать нет никакого смысла, ибо пустая трата времени, будем останавливаться только на том, что явно выпирает.

Во втором четверостишии третья и четвертая строчки:

Лапой лунное гнал отраженье,
Но достать его так и не смог.

Надо полагать, что теперь речь пошла о довольно густых сумерках, раз в воде видно четкое отражение луны.

Насколько я знаю: щенки боятся всего на свете: и темноты, и воды, и людей, и незнакомых мест, и всего прочего. Может быть, этот щенок принадлежал кому-то из детворы, наблюдавшей за ним, но тогда бы он был рядом с хозяином, прижавшись к нему.

И это – «Лапой лунное гнал отраженье»,
тут же – «Но достать его так и не смог».

Так что же, поэт, позволь тебе спросить, этот щенок хотел: гнать отраженье луны или же его достать?

И так у тебя везде во всех твоих стихах.

Далее.

В третьем четверостишии ты называешь меня своим «талантливым другом». Дорогой, мы никогда не были друзьями, не друзья и таковыми не будем, каким бы эпитетом ты меня «по-дружески» не награждал.

Мы не могли и не можем быть друзьями хотя бы потому, что мой отец лечил людей, а твой – кастрировал лошадей, о чем ты так красочно рассказал в одном из своих стихотворений. И мой отец прежде чем окончить медицинский факультет Томского университета, окончил еще и духовную семинарию во Владимире, и я на полном основании полагаю, что он оказывал своим пациентам не только телесную помощь, но и духовную.

Вся же суть написанного тобой заключена в последнем четверостишии.

Неужели я всю жизнь только и знал, что грустил и грустил, и тут ты не выдержал и убедительно просишь меня не грустить «хоть сегодня». И еще просишь, чтобы я не будил какую-то мою «роковую вину». Интересно. В чем заключается эта самая моя «роковая вина», откуда она взялась и почему мне не надо ее «будить»?

А вот, наконец, добрались до третьей и четвертой строк.

Что искать в себе дара господня,
Что ловить отраженье луны!

Здрасьте! Приехали. Только что ты написал, что я твой «талантливый друг» и тут же: «Что искать в себе дара господня».

Ты уж определись, Сергей Егорович, а то я никак не пойму, кто я на самом деле.

На счет «дара господня»? Я и не догадывался, что с этим вопросом надо обращаться к тебе. «Друг», что ж ты молчал все это время?

А то я, как этот щенок, не то «гоню», не то «достаю» отраженье луны, не зная, что «дара господня» у меня-то и нет.

Ну, спасибо, вразумил.

Если кратко об этом стихотворении.

Вроде бы все на месте: и рифма на конце строки, и размер, и количество слогов в строчках. Внимательнее же прочитаешь и видишь, что стихотворение-то собрано из отдельных лоскутков, нет законченности, цельности, каждая последующая строфа (и даже строка) противоречит предыдущей.

О таких авторах, когда я учился в Томском политехническом, говорили, что у человека нет «поэтического нюха».

Но... то – Томск, здесь – Сургут.

Может, этот поэтический нюх в Сургуте и не нужен вовсе.

Александр Сергеевич Пушкин говорил, что в стихах должна быть истина, искренность.

Этого у автора нет.

А Константин Николаевич Батюшков, которого Пушкин считал одним из своих учителей, советовал поэтам: «Пиши как живешь. Живи как пишешь».

Сметанин этому – прямая противоположность.

P.S.

В издательстве ПО «Исеть» г. Шадринска тиражом 500 экземпляров вышел сборник прозы «Бульвар писателей».

В нем помещен и небольшой отрывок из произведения Сметанина «Как я стал писателем». В этом отрывке как писатель он себя ничем не проявил, но ... если никто не называет его писателем, так хоть он сам себя таковым назовет. А что? Другие себя вон кем называют – и ничего, проходит.

Да, у Сметанина есть членский билет Союза писателей России, но таких членов как и кандидатов наук (наподобие его друга Ешимова) в нынешнем Сургуте на каждом углу не сосчитать...

И если вам вдруг придется необходимость на каком-либо из этих углов плюнуть, то в какую бы сторону вы ни плюнули, вы обязательно попадете, уж если не в писателя, то в кандидата наук всенепременно.

И все-таки теперь я приведу несколько набросков к портрету Сергея Егоровича Сметанина, опубликованные мной в Томске в книжке «Русские катрены».

Книжка мало кому попадет в руки, а вот местный альманашек «Сургут» кому надо попадет с большей вероятностью.

* * *

*Ты думаешь, ты дерзок,
Кропишь стишки, шаля.
А сам до жути мерзок,
Как длинная ...оп-ля.*

* * *

*Какать надо в туалете,
А ты покакал в Интернете,
Показав, что Интернет –
Виртуальный туалет.*

* * *

*Ты говоришь, что ты поэт.
Мы понимаем – это шутка.
И то, что выдаешь на свет,
Есть несварение желудка.*

Это ответ на твою «пародию» в Интернете.

Стихотворение же, посвященное мне и напечатанное тобой в книжке, мы мало-мало разобрали.

Пока.

P.S.S. Редакционная коллегия «Сургута» в напечатании этой главки отказалась.

И я ее понимаю.



Сметанин уехал в Екатеринбург проведать свою родню. В это время какие-то воришки забрались к нему в квартиру, сперли компьютер со всеми к нему приставками, а чтобы замести следы, комнату, в которой стоял компьютер, подожгли.

Вернувшись в Сургут Сметанин как «истый поэт» тотчас по этому поводу разразился «бессмертными» стихами, что даже поместил их во всемирной паутине – Интернете – на своем сайте.

Почувствуй и ты, читатель, все величие сего «творения».

СПАСИБО ВАМ, ЗАВИСТНИКИ МОИ...

Спасибо вам, завистники мои,
За то, что обворовывали сроду.
За то, что расплодясь, как воробы
На воле, не давали мне проходу.
Благодарю, завистники мои,
Мои хлеб-соль, за ваши хлеб и воду...

Спасибо вам, завистники мои!
Мое почтенье вашему кумиру.
Живите долго, злые холуи...
За то, что поджигали мне квартиру.
Благодарю, завистники мои,
Не по миру пустили, а по миру...

Спасибо вам, завистники мои –
Меня суду вы предали спесиво,
Но были благороднее свиньи:
За то, что улыбались мне так криво,
Благодарю, завистники мои.
Без вас бы я забыл, что жил счастливо!

Ну, как?

Давно убедился, сталкиваясь с людьми, подобными Сметанину, чем человек бездарней, тем выше он о своей особе мнит. Будем снисходительны, это – болезнь.

P.S.

Я живу в хрущобе, угловой, однокомнатной квартирке, на первом этаже. Дом во дворе. Очень удобный для квартирных «предпринимателей». Сколько раз они меня навещали, сбился со счету: и в форточки, и в окна, и в двери, и поджигали, видать, от обиды, что, кроме книг, ничего стоящего не находили. В конце концов мне это надоело. Я написал несколько строк и прикрепил их между дверьми (двери деревянные, а что двое – для утепления).

*Господа воришки,
Такие делишки:
Здесь живет поэт
Ничего у него нет,
Вот разве что Муза...
Так она вам будет обуза.*

И, вроде, усовестил.

Все-таки, правильное слово – это сила.

* * *

С четвертой целительницей я познакомился через моих добрых знакомых, которым как-то при встрече рассказал о случившемся.

Целительством она уже не практиковала, помогала только тем, кому сама решала помочь, узнав, в чем заключается просьба и кто он такой.

Денег она не брала, сказала, что за божественный дар деньги брать – грех и только по проведении всех сеансов согласилась принять какой-нибудь незначительный подарок.

Я раздевался до пояса, садился на табуретку спиной к входной двери на некотором от нее расстоянии, руки клал на колени ладонями вверху. Закрывал глаза.

Она проделывала какие-то манипуляции зажженной свечой над моей головой, потому что иногда капельки воска падали мне на спину, и я невольно вздрагивал.

Потом уходила в комнату, оттуда возвращалась со святой водой, специально ею приготовленной для этого, обрызгивала меня. А остальное давала выпить.

Затем она приносила эмалированную чашку, заполненную водой, в которой плавал расплавленный воск. На первом сеансе он был ужасной коря-

вости, совсем как Гималаи, и над водой и под водой.

— Да, Никон Васильевич, — сказала она, рассматривая воск, — тут у тебя не поймешь что. Кто-то с очень сильной черной энергетикой над тобой поработал.

— Ну, ничего, — сказала она, стараясь меня успокоить, — все будет хорошо.

Я попробовал улыбнуться, но получилось как-то неуклюже и печально.

Потом она завернула этот воск в газету с тем, чтобы я сжег его где-нибудь в стороне от чужих глаз.

Через день, когда я пришел на второй сеанс, она выглядела не такой жизнерадостной как на первом.

— Поздравляю тебя, Никон Васильевич, — сказала она, не то шутя, не то сочувствуя — на тебя была сделана порча — на смерть... После того вечера я сама еле выкарабкалась, мне было так плохо, меня так крутило, что я грешным делом подумала — умираю. Поражаюсь, как только ты жил все это время. Вот друзья так друзья.

Мы ведь (она имела ввиду настоящих целителей, а не тех, кто — ради денег) вытягиваем из людей всю их «грязь» на себя, а я уже не та, что была когда-то, когда старалась помочь всем. Вот и набралась, теперь и мне надо искать кого посильней, чтобы и самой почиститься.

Я не знал, что и ответить, стоял пораженный услышанным.

— Ты не беспокойся, Никон Васильевич, — сказала она после некоторого молчания, — раз я обещала помочь, я помогу. А ты обязательно сходи в церковь и поставь свечку Николаю Угоднику, хорошо бы и молитву прочитать «Отче наш».

Я робко пролепетал, что стал ходить в церковь почаше, что «Отче наш» почти выучил наизусть.

— У тебя сильный небесный покровитель, — ведь Никон это то же, что и Николай, — сказала она, чтобы приободрить меня.

— Ах, если бы это было так, — сказал я, приободрившись в знак благодарности, — но лучше надо было не попадаться.

— Конечно. Лучше не попадаться, — согласилась она.

В этот раз, когда она принесла чашку с расплавленным воском, — она закричала: «Черт! Черт!»

Я посмотрел. Да, то что вылилось, удивительно походило на черта. Лысый покатый лоб. Мясистый нос, нависший над верхней вывернутой губой, козлиная бородка, а сзади не то косичка, спускающаяся от темечка вниз, не то хвостик, поднимающийся вдоль спины до самой макушки, и эти бугорки надо лбом, так похожие на рожки. Но ведь это же Ешимов.

— Я знаю этого человека, — сказал я, — это Ешимов. Его профиль. Вылитый он. Он всем представляется кандидатом наук и поэтом, а на самом деле он ни тот, ни другой. И кандидат он липовый, и поэт никудыш-

ный. Считает себя православным христианином, делает вид, что верит в Бога, держит дома иконы, а сам – оборотень. В пылу откровения он как-то признался одному человеку, что может любому, кто только подумает сделать ему плохо, устроить такое, что тому ввек не поздоровится, и, по-видимому, устраивал.

– Конечно, я сам виноват, сам, не надо было мне с ним связываться, – хотел я себя поругать.

– Никон Васильевич (она всегда называла меня по имени и отчеству), – теперь тебе известен главный виновник всех твоих бед и тебе уже легче будет очистить свою энергетику и наладить связь с космосом.

А потом я поставлю тебе защиту.

На третьем сеансе воск вылился довольно успокаительно, т.е. без крутых гор и резких впадин и без какой мало-мальски проглядывающейся фигуры, целительница сказала, что на этом можно закончить, а с остатком негатива я справлюсь сам.

Я выразил ей как смог свою признательность и благодарность.

За прощальным чаем мы как-то невольно разговорились и оказалось, что у нас есть нечто общее. В шестидесятых годах двадцатого века я служил на Камчатке на аэродроме в Елизово, а она в этом поселке жила. Мы вспомнили Паратунку, Ключи, с их горячими целебными водами, Авачинскую и Коряк-

скую сопки. Вспомнили и корабль «Советский Союз», так бесславно затонувший.

Расстались мы совершенно по-дружески.

* * *

Еду в автобусе. Полдневный автобус довольно просторен.

Вижу: знакомая физиономия (когда-то вместе работали на буровой в УБР-1 в одной бригаде, но в разных вахтах).

Подходит, протягивает руку: «Здорово!»

– Здорово, – отвечаю.

– Как дела?

– Какие дела, когда голова бела.

– Работаешь?

– Да, вот, нет.

– Я тоже. Отдыхаешь?

– Разве на эти гроши (подразумеваю пенсионную подачку) наотдыхаешься? – задаю встречный вопрос.

– Я помню, ты стихи писал, за них же платят, наверно, большие деньги.

– Ошибаешься, стихи – одно расстройство и сплошь убытки.

– А я всегда думал, что поэты живут как короли – все к их услугам, только сиди да пиши.

– Не думай, дорогой, это все сказки, не более.

– Надо было идти в контору. Тебе говорили: «Иди в контору. Иди в контору». Не пошел. Вон Богданов.

Как высоко поднялся. Прямо в генералы. А мне ведь приходилось с ним поработать, даже в одной вахте. Не буду хаять, так себе. Какой он помбур — в очках, а зимой тем более. Посоветовали ему раза два идти в контору перебирать бумажки, и он пошел, теперь — начальник, хозяин всего «Сургутнефтегаза», и в городе не последний человек, да и в стране, пожалуй. А ты никто.

— Да, — согласился я, — я никто. Но если ты так хорошо его знаешь, так запишишь к нему на прием, глядишь, он по старой дружбе поможет тебе устроиться хоть куда-нибудь.

— Да, нет, зачем напоминать, — он посмотрел в окно. — О, «Аврора», моя остановка. Мне выходить. Бывай.

— Бывай и ты.

* * *

Первым представителем Кавказа, кто отважился покорить, уже покоренную русскими Сибирь, был, по всей вероятности, Салманов Фарман Курбан-Оглы, азербайджанец по рождению, по образованию нефтяник и геолог по сути. Он много сделал для утверждения в Западной Сибири так называемого нефтегазового комплекса. О нем широко говорили и писали и, скорей всего, по справедливости.

Вторым покорителем Сибири, в крайнем случае, Сургута, был грузин, лет пятидесяти. У него была передвижная деревянная будка типа привокзального

ларька доперестроечных времен, и в этом ларьке он продавал разливное вино, позже поименованное бормотухой. Вино так себе, но другого-то зимой в Сургуте в свободной продаже все равно не было. Основными покупателями его были мы – буровики Сургутской нефтеразведочной экспедиции (СНРЭ) и техники Сургутского авиаотряда (вертолетов Ми-4 и самолетов Ан-2).

И потому, вполне понятно, он подолгу стоял в нашем микрорайоне (микрорайон геологов).

Ребята рассказывали как анекдот.

Загорелось грузину побить с женщиной. Договорился.

Утром просыпается – ни денег, ни женщины, одни ее трусики.

Он берет эти трусики – и в отделение милиции. Там сует их под нос дежурному милиционеру.

– Нюхай! Нюхай! Нюхай, давай! Надо нюхать!

Дескать, бери собаку, пойдем искать.

Милиционер раздраженно отталкивает его руку: «Сам нюхай. Тебе надо, ты и нюхай».

Чем это окончилось, я не запомнил, да и не важно.

А жиреть Сургут начал, когда нефть пошла на за-гранку по гигантским трубопроводам, и нам внушали с самых высоких трибун (продолжают и по сей час), что это благо, что в этом величие России, что чуть ли не ее предназначение.

Так вот, я предлагаю патриотам Кавказа отыскать этого человека или хотя бы узнать его имя и поста-

вить ему памятник как открывателю и покорителю Сибири. Он этого достоин.

Тем более, что место для него (памятника) освободилось. Лучше не найти. Почти в центре Сургута на площади между ДК «Энергетик», городской и районной администрациями, где на постаменте несколько советских пятилеток подряд стоял, запустив правую руку в карман штанов, а левую за борт жилетки, сам вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин.

В 2005 году в некую ночь (по большевистскому обычаю) его оттуда сняли и негласно куда-то перевели, должно быть опять в «Разлив» до лучших времен.

А постамент-то остался. Что ему пустовать?

Уверен, местная власть непременно пойдет вам навстречу. И все будет... не знаю, как это назвать.

Могу предложить и проект: на постаменте стоит ларек, в окошечке ларька голова в кепке, на прилавке поллитровая и литровая банки.

Ново. Оригинально.

И... символично.

* * *

Нет. На этот раз предчувствие меня не обмануло. Сегодня вечером, в среду, приезжаю из Нефтеюганска, где пробовал найти работу, и вижу – в правом углу дверей, вверху, на косяке торчит иголка.

Машинально посмотрел на двери соседей. У них все нормально, ничего подозрительного.

Мне приходилось и раньше слышать о таких иголках, булавках и прочем, но от кого-то, что у кого-то...

Я почти был уверен (несмотря на возгласы некоторых моих знакомых, что это все я сам вбил себе в голову), что после того, что со мной произошло, мои «друзья» в покое меня не оставят и постараются добить до конца.

Но... как у нас говорится, не пойман – не вор.

Я позвонил моей целительнице в надежде, что она дома и подскажет, как с этой иголкой поступить.

Она тревожно воскликнула: «Ты ее не трогал?»

– Нет, – пролепетал я растерянно.

– И не трогай. Только голыми руками не трогай. Возьми пассатижи с изолированной ручкой, сделай из газетки кулек, этими пассатижами аккуратно вынь иголку и положи в кулек. Потом пойди в парк (она имела в виду парк Нефтяников, что рядом с моим домом), набери щепочек, подожги и положи этот кулек туда, чтобы иголка накалилась. Тебе на все это полчаса хватит?

– Думаю, что хватит.

– Тогда без пятнадцати девять поджигай, я в это время начну читать (она назвала слово, к сожалению, я не рассышал).

Когда костерок прогорел, и я, загасив остатки, пришел домой, то сразу же позвонил ей, что сделал все, как было велено.

Она спросила: «Слышал потрескивание?»

Я ответил, что слышал, но там были веточки, сосновые шишки и другой мусор, и что потрескивало, не знаю.

— Хорошо, — сказала она, — а теперь, Никон Васильевич, достань иголку, не бывшую в употреблении, и я сделаю, что не один человек с дурными намерениями к тебе в дверь не войдет.

— Дай, Бог! — ответил я, — а то я устал от всего этого.

* * *

Ответственному секретарю
Ханты-Мансийского отделения
Союза писателей России
Коняеву Николаю Ивановичу
От Сочихина Никона Васильевича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас посодействовать мне в улучшении жилищных условий, так как в настоящее время я проживаю в однокомнатной квартире, застройки еще начала 60-х годов.

Первый этаж, угловая комната, сырые стены, они покрываются черной плесенью, вредной не только для вещей, но и для человека. Вся коммуникация дома подведена и отведена под моей комнатой и часто оттуда такие запахи, что не нахожу слов.

К тому же, под окнами ставят множество машин. Их выхлопные газы проникают во все щели дверей и окон. Порой просто нечем дышать. Состояние – невозможno придумать какое.

Я обращался в администрацию города Сургута о помощи, ответили отказом, мотивируя тем, что моя квартира отвечает нормам, т.е. больше 9 кв. м.

Письмо Андрея Семеновича Тарханова с ходатайством решить положительно мой жилищный вопрос откровенно «потеряли».

Я в Сургуте с 1969 года.

Работал бурильщиком в Сургутской нефтеразведочной экспедиции по 1974 год. С 1974 по 1992 – в Управлении буровых работ № 1.

С 1992 года работаю в НГДУ «Сургутнефть».

К сожалению, ничего не накоплено, ничего не захапано, правда, я к этому и не стремился, делал свое дело – бурил скважины.

Но, жить в таких условиях, и еще заниматься творческой работой?

Не знаю, как это иногда удается.

И все же (может самая главная причина) мне пора создавать семью.

Я устал от бесконечно-безоблачного беспризорничества.

Сколько себя помню, у меня никогда не было мало-мальски сносного жилища: дом малюток, детприемник, детский дом, казарма, студенческое общежитие, рабочее общежитие.

Этот «угол» мне «дали» в 1987 году как временное. Я был рад-радешенек и ему. И, как всегда, жестоко обманулся.

С уважением Никон Сочихин

11 марта 1998 года

* * *

г. Сургут
пр. набережный, д. 70, кв. 1
Н.В. Сочихину

Уважаемый Николай Васильевич!

На обращение от 12.09.2002 г. к администрации города сообщаю следующее. Согласно действующему жилищному законодательству, жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, исходя из времени принятия на учет и включения в списки очередности. Несмотря на то, что вы на указанном учете не состоите, учитывая ходатайство Союза писателей России, в феврале 1999 года по решению общественной жилищной комиссии вам был предложен обмен имеющейся в собственности однокомнатной квартиры 1 в доме 70 по проспекту Набережному на муниципальную однокомнатную квартиру улучшенного проекта 52 в доме 6/2 по ули-

це Лермонтова. От предложенного варианта вы отказались.

Для дальнейшего рассмотрения Вашего жилищного вопроса у администрации города юридических оснований нет.

Начальник управления учета
и распределения жилья

В.Ф. Рассохина

1.10.2002 г.

* * *

Прошу вашего заступничества от произвола Ульбекова и его «людей», которые с иезуитским лицемерием и жестокостью под видом борьбы с самозахватом, т.е. неплановыми строениями, разрушают мой балок № 40 на «Заячьем Острове» (Под берегом).

Он стоит там со времен первых буровиков и был для них курилкой летом (в ожидании катера), а зимой там держали лошадь, на которой возили вахту на работу на Белый Яр.

Как видите, никакого самозахвата здесь нет. Год назад, когда я зашел к Ульбекову в кабинет попросить не разрушать мой балок, который служит мне и рабочим местом (как поэту – члену Союза писателей России), так и местом отдыха, просто как человека, то он бросил мне в лицо: «Ты растаскиваешь Россию».

Считаю это непростительным оскорблением.

Я воспитанник детского дома.

Отслужил в армии 3 года.

Закончил Тюменский индустриальный институт.
В Сургуте с 1969 года.

С 1969 по 1974 год работал в Сургутской нефте-разведочной экспедиции помбуром, бурильщиком, участвовал в разведке большинства месторождений, за счет которых в данное время живут и Россия, и Сургут, и тот же Ульбеков.

С 1974 по 1992 год работал в УБР-1 бурильщиком.

С 1992 года работаю в НГДУ «Сургутнефть» рабочим.

Жилищные условия мои ужасны. Первый этаж «Хрущебы» моспроекта первых пятиэтажек Сургута. «Невозможные» запахи из подвала (нынче вынужден был обратиться в санэпидемстанцию). Постоянно сырьи стены. Под окнами тьма машин от всех близлежащих домов, их выхлопные газы проникают во все щели и дверей, и окон, и стен; иногда просто невозможно дышать, а не то чтобы отдыхать или заниматься творческой работой.

В таких условиях мой балок был единственным местом, где я чувствовал себя в какой-то мере человеком, и как поэт мог что-то создавать, что также во благо Сургута.

Недавно его снова разрушили почти до основания.

Никон Сочихин
Ветеран труда
Член Союза писателей России

* * *

Где-то прочитал, что с теми проблемами, с которыми я столкнулся, а именно – порча, гипноз и прочие напасти, надо обращаться к воде, желательно проточной. Просьба родилась сама собой:

*Госпожа водица,
Дорогая сестрица,
Царица,
Прояви свою власть –
Смой с меня напасть.
Они комне с порчей,
А ты к ним с корчей.*

*Это Пивоваров Сергей Петрович.
Это Ешимов Георгий Карожанович.
Это Сметанин Сергей Егорович*

Один – колдун.

Другой – гипнотизер.

*Третий – просто непорядочный человек.
Удесятери и отдай каждому его долю:*

Пивоварову – пивоваровскую.

Ешимову – ешимовскую.

Сметанину – сметанинскую.

*И не столько в знак возмездия,
сколько с тем, чтобы отбить у них
всякое желание делать зло и другим людям.*

Да будет так.

Амины!

Так зачем и для чего я написал об этом.

Не с тем, чтобы ты, читатель, пожалел меня: какой я такой... и не такой, а с тем, что когда тебе встретятся «поэты» наподобие этих, сургутских, ты был внимателен и осторожен с ними.

Всего доброго!

Никон.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

—

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Никон Васильевич Сочихин

ПЕРИФЕРИЯ

Редактор *Т. С. Портнова*

Дизайн и верстка *Д. В. Фортес*

К-ОКП ОК-005-93, код продукции 953910

Изд. лиц. ИД № 04000 от 12.02.2001. Подписано к печати 01.10.2007. Формат 70 × 108 $\frac{1}{32}$. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамонд». Усл. п. л. 20,46. Уч.-изд. л. 22,92.
Тираж 100 экз. Заказ № 22.

ООО «Издательство научно-технической литературы»
634050, Томск, пл. Ново-Соборная, 1, тел. (3822) 533-335

Отпечатано в типографии ЗАО «М-Принт»,
г. Томск, ул. Пролетарская, 38/1

